

Виктор Соснора



ИЗБРАННОЕ

Дарію
Нобіловом!

Володе,

Оле,

Анзе,



Анатолье

Володе

10. XII. 27г.

Виктор Соснора

ИЗБРАННОЕ

Ardis, Ann Arbor

Copyright© 1987 by Ardis Publishers
All rights reserved under International and Pan-American
Copyright Conventions.
Printed in the United States of America

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Sosnora, Viktor.
[Izbrannoe]

1. Title.

PG3488.075A6 1986 891.71'44 86-13997

ISBN 0-88233-644-4 (alk. paper)

ISBN 0-88233-623-1 (pbk.)

Drawings by Viktor Sosnora

ВЕРХОВНЫЙ ЧАС

(1979)



ВЕРХОВНЫЙ ЧАС

Новая книга — ваянье и гибель меня, — звенящая вниз на Чаше Верховного Часа!

Как бельголландец стою на мосту, где четыре жираф-жеребца (монстры Клодта!).

Нервами нежной спины ощущаю:

ДРУЖБУ ДЕРЖАВ:

гименей гуманизма — германец

мини-минетчица — франк

с кольтами заячья мафья илотов — итал

а пред лицом моим в линзах Ла Манша — сам

англосакс!..

ходят с тростями туризма:

эра у них Эрмитажа...

Панмоголизм!

Ах с мухами смехом!

НЕ ПРОЩЕ ЛЬ ПЕЛЬМЕННОЕ ПЛЕМЯ?

Адмиралтейства Игла — светла, как перст револьвера, уже указующий в Ад.

Цапли-цыганки в волосьях Востока: сераль спекуляций (цены цветам у станций Метро!).

Мерзли мозги магазинов: под стеклами сепаратизма кости кастратов (эх, эстетизм!).

Там и туман. . . Двадцать девиц. Я, эмиссар эмансипаций, — двадцать, вам говорю, — с фантиками, в скафандрах, морды в цементе, ремонтницы что ли они драгоценных дворцов? (Счастье — ты с чем-то?) Кто они, — я говорю, — их похвально похмелье: лицами лижут стекла у дверей, колонны зубилом клюют. Дома-дворцы забинтованы в красные медицины (нету ковров!), *ибо заветное завтра* — триумф Тамерлана.

СОСТОИТСЯ САТАНИНСТВО!

Тумбы афиш: темы билетов там были. Тембры певиц — наше нужное эхо энтузиазма. Что-то чтецы? В царствах концерта царит Торичелли... и тогда — и т.д. и теперь — и т.п.

Ходят машины в очках, как павлины (о как!), как малины (во щак!) Невский проспект... но — невроз, но — Провинция Императрицы Татарства.

О, над каким карнавалом луна Ленинграда — саблей балета!

ГДЕ ВЫ ХАРЧЕВНИ МОИ, ХАРИ ЧЕРНИ?
ВЫНИМАЕМ ВИНА В МАЕ, НЕТУ ЖИЗНИ — НЕ

ТУЖИ!

Даже дожди... Даже! — душат!.. Люди, как лампочки
ввинчены в вечность, но — спят:

чокаются чуть-чуть головами,
целуются в лица,
листают фотоаппараты ^{портреты} свои, как некрологи,
в каменных мисках жуют колбасу,
давят в духовках млечных младенцев, — картофель!

Что им Гертруде, да и они что — гневу Гертруды... Вредят
ли братством: бушуют о будущем... Не обличаю, — так,
по обычаю, лишь отмечаю: вот ведь везенье!

Сердце души моей в мире — светлая сталь.

Что мне бояться, — библиотек, Бабилона, бульваров?
Кого — бедуинов?

Чьей чепухой еще унижаться мне, униату?

Ходит Художник в хитоне, плачет в палитру (падло, пилат-
ствует!) жрет человечьих червей (врет — вермишель!). Сто-
нут в постелях стихами девки искусства.

Я — собеседник о розах без детства, я — сабленосец в седле
на копытах (мой стул — Козерог!), жрец трав татар, певец
поцелуев (мы — узники уст!), трус и Тристан) и как страус —
стило под крыло (всяк человек чур не век!), — как бель-
голландец нервами нежной...

пальцы пинцетов пяти континентов:

иксом Инстантов

рулями Религий

тир Терроризма

Дуст Диссидента

лимфа Любви, —

НЕ ПРОЩЕ ЛЬ ПЕЛЬМЕННОЕ ПЛЕМЯ?

Ночью ничтожеств над флягами куполами стать и сме-
яться!

ЕЩЕ ОБЕЩАЮ ОБЩИНАМ:

Я ЗНАЮ ЗНАМЕНЬЯ:

— Я — камень-комета, звенящая вниз на Чаше Верховного
Часа!

У моря бежала, у моря бежала... не ближе.
Три ворона трижды взлетели, — куда им! картавцы!
У раковин рок, они лишь лежали и жили,
Но люди у моря тебя не любили, дай Бог — любовались.

Что вызов морям? Посейдону — трезубец, а молния — Зевсу?
А тем, кто тебя не любили, приблизиться — прежде ль?
А тем, кто любили, воскликнуть: как можно у моря?
не смей! не смеяться!
Как можно, Марина (лишь ситец, да сердце) бежала.

Что Ладога людям! Бутили по горло — купались по горло.
Седлали челны и рыбешку-рабешку себе вынимали.
Смотрели, бессмертные, как босоножка бежала.
Поймать — не поймать?... Сколько вод^н у скал налестали...

Мое маломальское тельце (как ноги — на гибель!)
И сердце! и ситец! Мой беженец в море... не ближе.
Кричи не кричи: но надежда на двух! до свиданья! до свадьбы!
Но совести — сорок... Нам было по двадцать... и не добраться.

* * *

Я лишь просил: не нужно! не удержим!
не разбивайся, жено, о талант!
не отнимай последнюю надежду! —
Не отняла.

О отступись! — просил. Ты отпустила.
отдай в ответы даты! — Отдала.
не мсти хоть за спасибо! — Не отмстила.
Оберегла.

Увел тебя у воли твой Сусанин.
Ничье не^ечастье не звучит за мной.
Хлеб-соль хорош. Что ни с людьми — с сердцами.
Земля-землей.

Я пью вино, отпущенник в тиаре,
пишу на лире, в пульсе быстрота,
как будто басня^и, а не bestiарий. . .
Как без тебя.

Нужна ли нежность? Мало ли могли мы
о двух руках, о трех перстнях серебра?
Как без тебя мне, милая, в могиле! —
как без себя!

* * *

Кто Вас любил? Да Вас! — да всяк!
Зачем Вы замки в воздушных?

Зачем Вы жили скрипкой жил,
дочерний Дух Вам не служил?

Зачем звучали, мой немой?
Зачем любили многих мной?

В Нам ясен яд. Но чьи цветы
и чьей погибелью новы?
Прости, что, милый, не на ты,
все в жертву памяти — на Вы.

Все спутал: жизнь, себя, жена.
В местоименьях имена.

У нас живых лишь дрема драм.
Болезнь морская — кораблю.
Дай Бог, чтоб Вас любили там
как я без Вас тебя люблю.

ПАМЯТИ . . .

Мать моя смерть моя как меня
Жизнь ее как ее зал разлук
Я кормил сладким камнем коня
Что ж ты стал не заплакал за плуг

Или циркуль-целитель грядет
по окружностям ясность-земля
Амен камень горюч Геометр
Или яд отвечаю на я

У цветка отцветает отец
Или Вам не в новинку на и
Плуг возделал везде и конец
Только и только имя не им

ЯК ТЫ МІГ ДОЧЕКАТИСЬ, ЧИ СПРАВДИТЬСЯ СЛОВО ТВОЕ

„Ты сказку, сказку про меня,
ты сказку сочини.”

„Я всадник, я воин, я в поле один
Последний династии вольной орды.”

„Правда, ты печальной Ефросиньей
обо мне в Путивле причитала?”

— В. С. „Всадники”. 1959

Отлистала сказку про меня.
Отблестала у династий дня.
Удит на цыганку время нас,
индустан-украинный обман.
Працювати — не найкращий час,
Дочекатись, справдитись, — о ні!
Бог не дав ни рог для стаи крав,
ходят с ухом со холма на холм.
А у хати провалился кров:
звался хутор — завивался хмель!
Отсвистала сказку про меня
на путивле ефросиний дня.
Эпос-иней голову глумил,
угасал как уголь грозный мозг.
Что там купол-Киев говорил?
В мире был по январю мороз.

Это Русь без всадников меня
хоронила пешим ходом дня
в женском платье, в гриме, лоб высок,
на кладбище снега и сорок,
гребнем забран что ни волосок:
догадайся, — дева? скоморох?

До свиданья Русь моя во мне!
До світання проміння во мгле!
Отзвенел подойник по делам, —
поделом! . . .

Пойдемте до домам.

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Обращение

Десять книг

да в степи

да в седле,

десять шей и ножей отвидал,

„Подари мне еще десять лет”, —
отписал.

Ты семнадцать отдал.

Отнял степь

да седло

да жену.

Книги вервьем связал. Не листал.

Отгял шеи —

оставил одну.

Ночью каинств и ламп не лишил.

Что мне делать с ней, шеей, с ножом?

Я не раб,

я не враг,

бой не бью.

Бог с Тобой, если Именем — нам:

отдал — отгял и...

Благодарю.

Где ж я был? — В сталактитах у скал?

Через семнадцать вернулся. Я — тот.

Те ж народы... Никто не узнал.

Для ВЕРХОВНОГО ЧАСА — никто.

Те дары не расплавлю кольцом.

Не жалею у ножа,

ожидай.

Дай два ока — закроюсь лицом.

Если

есть

во мне, —

не оживляй.

Дай два Огня, два Зверя,

два дня.

Две волны,
двойню губ,
да весло.

Не удваивай в Доме меня.
Забирай под забралом, —
и все.

* * *

Все было: фонарь, аптека,
улица, поцелуй,

фонтан, самозванство, Мнишек,
Евгений и ночь Невы,

лунатик и револьверы,
гений и ревность рук,

друзья с двойными глазами,
туман от ума у нас,

Сальери ошибся бокалом,
все в сердце: завтра, любовь. . .

Как праздно любить мертвых!
Как поздно любить живых!

* * *

Если б шарами в нишах луз
Земными, — жил бы, люб!
Но каждый мускул наших Муз —
недрожь! недружелюб!

Ну кто слепец Земную ось
просмотрит, прост и чист,
осмелится отмыть с очес
от Часа наших числ?

Ну кто стрелец наитью Дня
отпустит опус — в шрам?
Чьей равностопностью, друзья —
наш римлянина шаг?

Кому подаришь сей падеж:
о помощь! о отдай! —
крест от Петропля чрез Париж
нести на Иордан!

Кто рифмой яблоко-любовь
вы Дева — тронь весы!
Я знаю: языками кровь
зализывают псы.

ДЕНЬ ГНЕВА, ЭТОТ ДЕНЬ

Светил телодвиженье, — тел желает...
Цветет миндаль, кузнечик тяжелеет,
в заморский климат в атмосферный август
ушел стрелец в чулках с афишей — аист
на холмах лошадь чья-то лижет кальцеке
каких-то каст ко мне катится капере
волн студенистость на озерах спрута
у плакальщиц у дома — соль-ступень
луны колонны в улицах у страха, —
Я ГОВОРЮ: ДЕНЬ ГНЕВА, ЭТОТ ДЕНЬ!

Дом стерегущие друзья — дрожали
в окна смотрящие — в руках держали
скрыпицы-лицы в пузырях из мыльниц
аука-звук у жернова у мельниц
на ключ с дверьми да запираются — племя
сынами силы взяли дочерей пеня
расплакался дитячь губой малины, —
он сед, а барабанчик до ^кблен...
Не возвратится телу: дом могилы.
ДА ВОЗВРАТИТСЯ ДУХ, ДОКОЛЕ НЕ:

не порвана серебряна цепочка
не льется в ухо ртуть твоя цикута
имеется у мышцы меч в титанах
найдутся троны за дождями в тучах
не унимайся влага у кувшина
не иссякай отвага у кошмара
не разорвать повязку золотую
не расплавляется клеймо-кольцо...
Я ГОВОРЮ: В СВЯЩЕННЫХ ЗАЛАХ ДУЕТ,
но бьется над колодцем колесо!

ТЫ ДОМИК С УШКАМИ ИЛИ УЛИТКА
ЗА ЧТО ЕЕ ЗА СОРОК РАЗ УБИЛА
ЛИШЬ НЕПРИКАЯННОСТЬ И ПРОСЬБЫ СЕРДЦА
„НАС НЕ ОСТАЛОСЬ” ЕСТЬ ТАКАЯ СЕКТА
А ИГРЫ В ИКС В ИСТОРИЮ В ИСКУССТВА
НЕ ДЛЯ ЛЮБВИ А ЧТО ЛИ ДЛЯ ИЗГОЙСТВА
ТВОЙ ЗАЛ ЗЕМЛЯ СКОРЛУПКА ДЛЯ МОТИВА
ЗА ВЗМАХОМ НЕМОРЕЙ КОРАБЛЬ МЕТАЛЛА

**БЕЗ ЯКОРЯ КОМПАСА ТВОЙ ВОЗНИЦА
НА МАЧТЕ ПОД НАЗВАНИЕМ БИЗАНЬ
ДО ДНА МЕНЯ ДО ДНЯ МЕНЯ — ВОЗВРАТА, —
Я ГОВОРЮ В ДЕНЬ ГНЕВА В ЭТОТ ДЕНЬ!**

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Тихо-^лтихо. Да шесть
бьют на башне часов.
Хлад и ландыш в душе,
Дверь у тварь на засов.

Спи, ребенок людей.
Лодка, лунность и шест.
На звездах шесть друзей,
потому что их шесть.

Шесть над миром шаров, —
фонари кораблей, —
шесть шаров — шесть голов,
в глазиках — шесть гвоздей.

Море-цепь, море-^тгать,
с весел каплет испуг.
Будем рты целовать,
два детеныша рук.

Спи, ребенок морей.
Лодка-люлька и шест.
В воздухе шесть зверей, —
в ножках выросла шерсть,

лобик вырастил рог,
шесть клешней — рыба рак...
Спи на море морок
мой ребенок-рыбак.

Что-то воеет не волк,
нет мозолей в горсти.
Два детеныша вод
будем в грусти грести.

Ведь пока что у нас
качки нет, — море-муть.
Месяц лун красномяс,
лун, а может быть Муз.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Твой фотоснимок
(вот Вам Волжанка!)
в Париже.

Твой без тебя.
Полюбуйся:
я ргуть во ргу.

Май не по мне:
даже в Лувре твоя
Джоконда.

Я не люблю
люмпенский абрис
ее.

Мне Леонардо
лишь гений лица,
но не кисти.

Ты их любила.
И вот фотография —
факт.

Мертвый мазут.
В Сене снуют
сигареты.

Я фотоснимок
тебя... Я посмертный —
сюда?!

Радость моя!
Скифы скитались
прежде Парижа.

Нам не дана
(бойся Данайцев!)
ересь Европ.

**В лицах есть что-то :
ответ на себя?
тост телячий?**

**Я без себя.
Да и кисти мои
не у лиц.**

**Жалко Париж.
Я был... как бы не был
в отеле.**

**Твой фотоснимок
не совместился
ни с кем.**

ТРЕТИЙ ПАРИЖ

В отеле „Викторья”, плац д’Итали, у сквера Верлена
хозяин-араб, но безработица, в сквере же меж дерев

монумент,

но не Верлен, а майор-интендант, как и у нас — военный,
а окна мои выходили на монастырь,

одно как окно в номере, а второе — дворцовая дверца,
незастекленная, был умывальник с водой,

лимонное мыло, по генеалогии древа

Бурбонов, и я босиком с кровати крался на водопой.

Вишневая водка стояла в шкафу, но не inferнальна, —
ее я не пил. Для гостей? Но и гости не пили ее.

Входили и выходили, но не на монастырь, а интеллигентно, —
вот выбриты! до вибрации лиц! Брился и я, —

весь в синем вельвете. Весна. Все уже заговорили по-польски.

Я загоревал: ведь французский я знал наизусть.

Я явился в Париж тверд и с целью: творческие поиски.

С искусством уже приискал: и араба отель полюбился и

майор не хуже ничуть.

„Верлен и верлибр” — срифмовал бы и новый папа-

итальянец.

А „Аполлинер и апрель” — я в Варшаве еще рифмовал.

Дул дождь, как ветрами. Я взял зонтик. Что это? Стриптиз

или танец?

Протестовали студентки-спортсменки у входа в бассейн под

дождем.

Люблю социальные сцены и ноты протеста;

когда не впускают в бассейн искупаться в одежде от холода, —

впустить!

На Монпарнасе в качестве живописи ультра-портрета
музей Барбиду. По нервам понравился. Не оцениваю. И

четырежды выше Эйфеля, Отменная башня!

пусть.

Воздвигнули Черную Башню. Французы и в архитектуре

сильны.

Эйфель был берцов. Боже-Башня уже из кайф-кафеля.

Уйди из Парижа — увидишь ее из Советской Страны.

Зачем же я в трату валют (все ж с оговоркой — обмена!)

На аэротаможне аэротаможенники (наши ли?)

нашли, мне карманы проверяя, четыре грецких ореха,

их были кувалдой, искали брильянты короны моей и

огорчились, что не нашли.

Мне сердце предсказывало: не будь индифферентным,

ищи интересных людей, нет их в номере, ты, гамадрил.
Но Джонни Бурбон мне был ни в коем случае неинтересен:
я пил с ним водопроводную воду из крана и сигареты
“Tanja” курил.

Он в банке служил банковским служащим, чтобы, как
рантье, работать:
дворец ведь для нескольких лиц из состава семьи в Жермини:
три дочери-шарм и бушуют, но пред будущим робость:
что сын не предвидится — возраст жены.
Последний Бурбон. Джонни плакал чуть ли не по-королевски:
последний мужчина в роду — последний Бурбон!
Я его утешал, что и Фазтон был последний в коляске,
и что каждый мужчина — последний мужчина себе...

Барабан
гارد-республикен в двенадцать ноль-ноль раздавался!
Есть у Столицы статут, а в двенадцать ноль-ноль у Столицы —
стресс:
обычай обеда: цыпленок и беф челюстями от шкур
раздевался,
здесь к цыпленку и бефу, я бы сказал — неиссякаемый
интерес.

Художники из киноискусства, консьержки с ключами,
дельцы и девцы, чиновник и человек,
премьер-министры и диссиденты, комиссары полиции и
клошары
обедают с двенадцати ноль-ноль и в четырнадцать ноль-ноль
закрывается чек.
Пустеет Париж. Два часа иностранцы, не зная инстанций,
вне нравственности народа,
пьют пот и завидуют злобой, им нет интервью. Им ответ:
„Обедают двести двадцать четыре миллона зубов.

Осторожно!”
Пой, хор херувимов. Хороший обычай — обед.
О женщинах. Думается, элегантность в них есть. Но с
волосами старались не мыться.
Мы моемся чаще, но я не рискнул бы отметить — вовсею.
Я фемин уговаривал по-французски, без акцента: „Вот
мыло! Вот миска!”
Не мылись. Так и уходили без поцелуя в растительных
волосах.

О чем же отчет?..

ПРАГА-76

1.

В Праге у меня было три врага:

КАМИН
КОТИК
и КАТАПУЛЬТА

2.

М. Цветаева любила горы.

Простите, автор Горы, не панибратство, — у Пана люди — рода мужчин, братья. Сестрам — живот людства.

3.

Пражской Весны я не видел, не люблю я весну.

Там, как говорится, Читатель очнулся или ... очутился?
Думается, Злата Прага за цветенье Сада себя не в ответе.

Я был в Москве. И привез семьдесят с чем-то проз о

„Летучем Голландце”

Рукопись съю из-за формализма отвергли.

Л. Брик сказала, как в мифе: „Отвергли от века”.

Ей да простится. Ибо как видим — не век.

4.

Про Переделкино нео В. Катаев напишет.

Вот где венец торжества вам, юнец из Литинститута!

Знаю одно, пес-медвежон Б. Пастернак^М меня не искусал.

Знаю одно, убили ворону, дружившую с кошкой, на даче,

где К. Федин.

Дети убили, двойняшки.

Из мини-ружья, пневмо-пулей из магазина Пражской Весны.

(привез им К. Симонов).

Похоронили ворону — с крестом.

Кошка немножко повеселилась с рыбкой у речки, а после

повесилась

(чур! — чертовщина!).

В общем висела на ветке с хвостом.

Все ходили туда.

Самоубийство кис-кис в Переделкина, — свежесть сюжета,

пис-атель!

5.

Р. Якобсон с ужином в два графина,
чуть бельмоват, птицелиц, худ, с недугом структурализма.
мне возражал на прозы меня, что ведь вот как все влюбились
чрез поколений чреду калмыка Ф. Кафку.

„Он не калмык, — отрицал я, —
дважды в фамилий „Ф“ — это знаки Эллады!”
„Нет, он калмык, — Р. Якобсон был обрадован обре, —
(утром Л. Брик звонила, нашли на участке, под яб-
лонями, и по линейкам квадрата забора — 121 белый
гриб! пока мы выясняли семантику слова Ф. Кафка) .
в странах славянства все пишут как мы, — по-калмыцки”!
Что он подразумевал? — мы напролет не болтали.

Я смешно не потел, я не провидец, я знал: за МАЕМ —
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЯ!
И вот Прага моя —

6.

помни синекдоха Поэму Горы и Смиховский Холм и Мост
из Поэмы Конца
минули годы и камень смененный плоскостью Ни Кем не
снят

Гору Ни Кто не застроил дачами палисадниками не стеснил
все сохранились овраги вверх дном ни один перевал
город Мужей и Жен на развалинах счастья Вашего Марина
у Вас не встал
воздух блажен и больше Ни Кто не грешит без лавочников
не лгу
очи мои не ослепли на отдыхе нет барышей

крыши с аистовым гнездом... напрасны сарказмы крыши из
черепиц
тяжесть фундаментов Вашей горы у горы лишь фундамент
Земля

Горы времени Вам Марина что Вам до Горы
кратер Ни Кто не пускал в оборот Везувия льном не вязал
львом виноградники не заворочались ненависть в лавах
не шла

девками дочери в стайки не встали к Мосту типа поэта нет
среди сыновей
дочь не растит ребенка внебрачного сын цыганкам себя не
стравил
вот ведь в итоге-то вывод: счастье злачное на Ни Чьей крови
Я на Карловом Мосту. Все ходят. Не сегуя. Туда и сюда.
Как я смеюсь в синтетике, пью пиво из Пльзени с цветной
икрой.
Пражским газетам позирую я, весь в развевающихся волосах...
Мойщики окон Людек и Людвиг моют со смелостью — мое
окно!

7.

Я жил на площади А. Павлова в квартире профессора В. Ч.
невдалеке от шумихи для иностранцев „Швейк”.
Не иностранец в нем я не был:
Я. Гашека там не любили ни ночью ни днем.
Второстепенное впечатленье от квартиры Ф. Кафки:
ничего — нищета.
В ней где-то поблизости торговали браслеты.
Купил версальский браслет.

8.

Восьмая глава! Воспоминанья: Веймар.
Жил в хижине Ф. Шиллера о трех этажах.
Нячился с прозой штурм-дранг по-немецки. Готическим
шрифтом.
Был в Бухенвальде. Не понравилось: для экскурсантов из
иностранцев.
Не иностранец. Мне познавательность — ^{всиче} ~~вкус~~.
Лотта (не из И. Гете и не из Т. Манна), —
симптоматичная, но симпатичная фрау семидесяти шести лет,
Хранительница Сокровищницы Поэта, — меня любила:
я не пил, как солдаты.
Она с восхищеньем старухи смотрела,
как я выводил на драме Ф. Шиллера „Лжедмитрий”:
„Германо-Советские связи”.

9.

Ф. Кафка был чех.
Но писал по-немецки.
Действительно, гениальность провидца, — о Многоножке.

А. Крученых был русский.

На шесть лет младше А. Блока.

А. Крученых — известен! — под кличкой „дыр-бул-щыр”.

А. Крученых писал:

В ПОЛНОЧЬ Я ЗАМЕТИЛ

В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого,
величиной с клопа

в красной бахrome ножек.

Прижег его спичкой. А он потолстел без ожога, как

повернутая

дном железная бутылка...

Я подумал: мало было огня?...

Но ведь для такого — спичка как бревно!...

Пришедшие мои друзья набросали на него щепок,

бумаги с керосином — и подожгли...

Когда дым рассеялся — мы заметили зверька,

сидящего в углу кровати

в позе Будды (ростом 1/4 аршина)

и как би-ба-бо ехидно улыбающегося.

Поняв, что это *особое* существо,

я отправился за спиртом в аптеку,

а тем временем приятели ввертели ему окурками в живот

пепельницу.

Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши,

а кто-то накаливал спинку кровати на свечке.

Вернувшись, я спросил:

— Ну как?

В темноте тихо ответили:

— Все уже кончено!

— Сожгли?

— Нет, сам застрелился...

Потому что, сказал он,

В огне я узнал нечто лучшее!

Так А. Крученых писал лет за двадцать до Ф. Кафки,
лет за тридцать до Э. Ионеско и С. Беккета.

10.

На Еврейском кладбище я был.

На стелах написано по-еврейски.

Чему удивляться? В квартире профессора В. Ч.

на всех 573 куб. м.

пусть не стелы — хуже! — все стеллажи

в книгах, написанных по-китайски
по-корейски
по-бирмански
по... как у Эдгара По! —
ничего себе, — квартира была в иероглифах.
Хоть бы слово славянства! — профессор был востоковед-
оригиналист.
Хорошо хоть его самого — В. Ч. — я не видел.
Дали ключи — я и жил.

11.

Я лишен любопытства.
Не люблю наблюдений.
Но в лоб окна
без занавески стояли за лакированным красным стволom
каштана
два!
стрижены струнки их двух голов,
чернокостюмны, с медалькой на лацкане, локоть к локтю, —
как им стоялись? — сутками суток!
Я включал свечу — они включали фонарик. Я выключал —
выключали.
„Живи и жить давай другим” — сказала Екатерина.
Сочувствую способу существования.

12.

КАМИН

Прага моя Ноября!
Стужа и дождь леденящий.
Я радиопьесу писал. На столе стояла сова из фарфора.
Из женщин:
лежала в футляре от скрипки бутылка вермута „Бланка”.
Я вылил вермут в ванну. Ванна Вина.
Как мне Камин? Был коварен КАМИН.
„Иду на ВЫ” как Святослав не восклицал.
Май миролюбья, грел мне, мурлыкая, ножку в сапожку.
Ночью он отключался. Я думал: система.
Оказывается: отказ.
Я в простоте душевной, он — лицемер! — меня на обман:
в Третий День Творенья Меня в ЧССР он погас.
Как, проклятье? Кто и где его обучал?
Я вошел из дождя, он облучал в две спирали мое пой-
пространство.

Я сел за стол с пепельницей в солнечном состоянии. Он — угас.
Как! — не постепенно, с предупреждением — сью же секунду!
Я не люблю борьбы и не боюсь катастроф.
Я уходил — он вспыхивал пламенем лунным,
несмотря на розетки, трансформаторы, штепселя.
Я приходил. Я приходил.
он позволял так сказать без пользы
протянуть ноющ-ноги к домашнему очагу (с отдохновенья!)
и... сукин сын! — гас навек и бесповоротно.
Зубы звенели под одеялом из пуха!
Сосед В. Л. был по профессии Министр;
взаправду же он оказался Мастером по каминам.
Стоило Мастеру взять в сильные руки свое оружие, —
трус-Талейран в момент загорался ровным негасимым огнем.
Сколько В. Л. ни исследовал систему подключений и пр. —
КАМИН горел, не шелохнувшись.
Мастер-Министр рассердился:
я издеваюсь над милым электрическим существом,
оно исполнительное, исправное... Я сам — садист!
Логика здесь нелегка: в выводы не вдаваться!..
Еще не затихли шаги выговаривающего В. Л.,
как он по ступенькам ко мне взлетел
и обезумевшим шепотом взвыл,
что у него телевизор — взорвался! КАМИН он — винил.
КАМИН злобно помаргивал, а потом погас:
он сделал свое дело.
Описывать злоключенья с сей тварью, — о к псам!
На Башне каждый Апостол крестился:
„КАК МИНЕТ КАМИН НАС!”

КОТИК:

самый самый, пестренький, самка, с виду котик и котик,
но невидимка-хозяин оставил записку: КОТИКА в комнату
не запуская
во избежанье избитья им статуэток, где я сплю
и упражнений им на цветочках-цепочках (живут, висят на
окне),
которые КОТИК любит и губит.
Я закрываю с ключом цепью дверь, я ложусь.
Луна, на ковре фосфоресцирует тень от семиглавой люстры-
Дракона, —
вот вам, Восток, — созерцаю.
Вдруг: кто-то карабкается на кровать.

Включаю люстру Великого Могола, встаю:
КОТИК лежит, как ласточка на кроватик. Дверь на ключе,
цепь цела.
КОТИКА за шиворотик, дверь открываю, выбрасываю в
коридор, ложусь.
КОТИК ругается по ту сторону двери, царапается как цапля.
Три таблетки. Тушь-тишь...
Вдруг: кто-то лапой как эскулапой бьет по морде, кусает
глаз как миндаль

Встаю, включаю люстру Ли Бо:
КОТИК в кровати, рвет, как рвотик ночную косынку
из США

(власы мои смерзались, мыть негде, Ванна полна Вина!)

Ключ не колышется, — бронза!

Я перещупал все щели, выбросил КОТИКА, я ложусь...

Не из щелей...

Лег я, к двери подполз...

подсмотрелся в глазок:

КОТИК взял зажигалку и свечку зажег,
взял из шкатулки ключ, точь в точь, как мой,
прыгнул в дверь,
вставил ключ

и раскрутился, как на турнике:

дверь открылась!

дверь была с двойным замком. Как у тибетцев.

КАТАПУЛЬТА:

У профессора В. Ч. был револьвер из Калькутты, валялся.

Водопроводчик П. З., ходивший ко мне за водой,
(в Праге в моде вода, но она лишь в квартире ориенталиста!)
небритьй, набредший в поисках всечеловеческий влаги на
Ванну Вина,

скопировал за семнадцать часов семнадцать револьверов.

Мы стали стрелять: Я,

водопроводчик П. З.

Мастер-Министр В. Л.

мойщики окон Людек и Людвиг,
позавчерашний однофамилец Президента
ЧССР В. Н.

(теперь:

Председатель Чешско-Эстонского Об-
щества Хуторян,

вся Прага взаправду изучает эстонский язык!)
директор издательства „Одеон” К. Т.
(он:
позавчерашний директор пивной
Швейк”),
Милан-метельщик
и (так ли?) теперешний экс-епископ
Праги Ц. Т.

Все стреляли, как все,
Епископ же, чтобы остаться неузнанным, вот что придумал:
переезд в США.
Я снимал для него рейтузы, рубашку и ночную косынку из
США.

Он снимал мне сутану.
Он, как казалось всей Праге, — стрелял как советский гость.
Я — как экс-епископ в сутане: замаскировались.
Время от времени кой-кто всхлипывал в Ванне Вина.
Но Кой-Кто его увозили на санитарной машине, как
утопленника из Влтавы
Куда мы стреляли? Куда ни стреляй, —
попадешь с статуэт из нефрита, или в шкатулку из кости
слона,
или в монету из золота эпохи Цзен.

Хозяин мне музицировал в телеграммах:
Мы — пьянь, — мы — мерзавцы, а КАТАПУЛЬТА стреляет
в десятку.

Мы и стреляли:
из двух окон в тех двух Чернокостюмцев,
те два погибали под шквальным огнем по-геройски,
но утром, не опохмеляясь, вставали
и с прежней яростью смотрели сквозь окна в меня.
А КАТАПУЛЬТА с пресловутой десяткой?
Хозяин — хитрец. Но кто ему, ритору, верил?
Мы-то знали, какой у него КАМИН и какой КОТИК!

13.

Тр^ницность главы Тринадцать дарую друзьям.
Гибель-глава:

28 мая 1977 г. покончил с собой Художник Н. Г. Возраст —
54 года.

4 августа 1978 г. покончила с собой Л. Б. Возраст — 86 лет.

6 января 1979 г. покончила с собой М. С. Возраст 40 лет.

М. С. мне писала:

„Радость моя! Ты повсюду сеешь смерть, сам живой!”

С Богом и платочек, В. Незвал!

Не переводите больше, К. Чапек,

французскую поэзию П. Верлена по-чешски,

потому что найдется поэт, любитель стран,

который переведет

француза П. Верлена с перевода К. Чапека

по-русски

и скажет с каждым:

„Это мое и это мое же”.

ПОЛЬСКОЕ (Реквием-речитатив)

С 1572 г. в Польше существовало право свободного выбора короля: Сейм избирал марионеток, которые укрепляли войнами, обогащали хлопами и удовлетворяли удовольствиями шляхту.

В 1660 г. Польша была чуть не самой могущественной державой Европы. В 1660 г. Польша вела войну с Россией: Сапега и Чарнецкий разгромили наголову князя Хованского близ Слонима, на границе Польши; князь Долгорукий разбит на Проне; у князя Трубецкого — поражение на Украине; граф Шереметьев на Вольни теряет весь свой обоз и четверть стотысячного войска; Григорий Хмельницкий, сын Богдана, разбит под Слободицей и поставлен на колени пред Польшей. В ореоле славы побед, изумивших и испугавших всю Европу, король Ян Казимир предложил сейму избрать ему преемника при его жизни. (Король Ян Казимир был последним отпрыском из рода Ягеллонов.) То есть: воспользовавшись „политическим положением”, Король хотел сделать власть преемственной. Тогда были сильно ограничены права и самовластье олигархии шляхты и государственный бюджет расходовался бы на государственные нужды, а не на полонезы и ничем не обоснованную гонку вооруженной державы.

Сейм отвечал воплем негодования на такое предложение. Сейм ждал смерти последнего отпрыска, ждал безкоролья — своего полновластья. Шум. Хамские выкрики. Брань. Не помогли и принесенные Чарнецким сотни знамен, трофеи только что прогремевших побед. И Ян Казимир среди немости, скрывавшей затаенную ненависть, произносит слова:

„Дай Бог, чтобы я был ложным пророком; но если вы не примете мер против тех бедствий, которые угрожают стране вследствие пресловутых прав свободного избрания, славная республика станет добычей соседних народов; Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, Австрия возьмет Краковию и Польшу. Каждое из трех государств предпочтет лучше разделить Польшу, чем владеть ею безраздельно, но с сохранением ваших вольностей.” Ян Казимир отрекся от польского престола. Он оставил Польшу и уехал во Францию. Жил он: между молитвами в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре и ласками Нинон

де Ланкло, между торжественными мессами в монастыре Сен-Мартен и безумствами-оргиями в доме известной прачки Мариин Миньо (в грядущем — жены маршала Лопиталья).

После отречения Яна Казимира избранье короля уже не будет руководствоваться ни попытками нравственности, ни историческими традициями: все связи с прошлым прерваны.

(из В. Бильбасова)

Я ДАМ ЕМУ ЗВЕЗДУ УТРЕННЮ.

Ему?

Кому?

В костелах утрат

с кем

с камнем

за ключ

закрываю унию,

униат?

С тем ли, кто по Польше ходит, пошатываясь?

Пропустит

про

Польшу

и Рима кумир.

Не трогает СЪОМЫЙ, как в сейме сказал, проща...ясь

Ян Казимир.

Как пил он в Париже и прачкой Миньо ненавидимый
листал

ее

Лопиталю

и

мессы

с

коленями

поз.

Хлоп не надрывался, а шляхта в шелках, — чуть ли не в
Индию, —

полонез.

Так умер Первый Король отказа от трона у Родины.

Посягнули

псы

по

предсказаниям
тебя, — сабель свист!
Сумятицей сейма!... Так „плеть и петля” вписали Романовы:
„СБЫЛОСЬ”

Я дам ему слезу венчанную:
Мицкевич,
Конрад,
Нижинский,
Аполлинер, —
Беглецы — от любви?
ВОЗДУХ ВОЗДАСТСЯ ЗВЕЗДОЮ ВЕЧЕРНЕЮ.
Благослови!

ЗАВОРОЖЕННЫЕ ДРОЖКИ

1.

Запытайте Артура
в зоопарке тиграми, —
было бы ^{то}аттуда
шесть слов в той телеграмме:
ЗАВОРОЖЕННЫЕ ДРОЖКИ,
ЗАВОРОЖЕННЫЙ ДРОЖАЯ,
ЗАВОРОЖЕННЫЙ КНЬ.

Чернокнижник^{ник} Бен-Али
плюнул мне в мою душу::
„Тоже мне, на безделье —
заморозить дрожку!

Взять фиакр за вожжи,
в глаз — специальная брошка!,
вот вам и заморожены
дрожкач ваша и дрожка,

но не конь!... Белены ли?..”
я к нему с кружкой пива:
„Как с конем быть, Бен-Али?!”
„Нет. Обжулили пана.”

В брамах велосипеды.
Почтальон встал как пика.
Выросли мои волосы
до фонаря переулка:
ЗАЧАРОВАННЫЙ ФИАКР?
ЗАЧАРОВАННЫЙ ФЕОКРИТ?
ЗАЧАРОВАННЫЙ флаКОН?

Рыбки в струях из крана...
Я клянусь моим именем:
крыши сребрен-Кракова,
как “Secundem Ioannem”
бомба в лужах, чительник,
вверх рука восходила,
сбросив лампочку в чайник,
мне жена вскипятила.

Я пошел искупаться,
взял карету, а кучер
спит, усы из капусты,
лошадб прикуривает от кур.
Как хотелось поплавать!
Остается поплакать:
кучер мой заморожен,
или же заморожен?
Нет монет в телефоне,
но магнит в телеграмме:
**ЗАКОЛДОВАННАЯ КАРЕТА,
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КУЧЕР,
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КОМОНЬ.**

2.

Я збонил вам, Бен-Али?
У меня ведь есть алиби:

с улицы Венеция до Сукенниц
вели меня с тростью то Артур то Ронард
а это не так-то уж и просто: там одиннадцать на одиннадцать
ступенниц
а Луна висит на тесемке в форме стихотворенья „рондо”
извините я не изваянье чтобы меня несли с тростью через
весь ночной Краков.

3.

ночные ЧУЧЕЛА КРАБОВ
ночные КУРСЫ СТЕНОГРАФИИ
ночной КОРОЛЬ СПЕРМОГРАММИИ
ночные КОРСЕТЫ КОЛУМБА
ночной МОТОЦИКЛ, ночная АКУЛА
ночной ПАРИКМАХЕР, ночной МЯСНИК
ночной ХОР МУЖЧИН „СЕМЬ ЖЕНЩИН И МАЯТНИК”
ночная КАПУСТА, ночное МОЛОКО
ночное ТАНГО „МАКАКО”

ночные СЕГОДНЯ СОСИСКИ С ХРЕНОМ
ночного ЗАЙЦА ЗАВТРА НЕ ЖАРЬ С ХРУСТОМ

ночной указатель КОСТЕЛ ЗА БОТИНКАМИ
ночная вывеска ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЛ ЗА НОЖ

в общем, ночные собутыльники:
всеобщий ветер, всеобщая ночь.

4.

Мы присели на крыльце „Морг для негра” у дома этажа.
Над крыльцом висели негры с неживыми телами.

И — о боже! — у крыльца с петушком — троица и та же,
процитированная в первой главе, в телеграмме:

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОГИ,
ЗАГОВОРЕННЫЙ ДРОГИСТ,
ЗАГОВОРЕННЫЙ драКОН.

А с Марьяцкой башни сваливаются свечи, как со спиралью
лампочки.

А у коня, извините, живые уши, как у лошади.

5.

Как бежит как бешенец конь, трясет виолончелью.

Буря дует в губы невесте под вуалью.

Невеста и матрос: вишня с маком из сада
едут едут в дрожках, близится свадьба.

Матрос, как все матросы невестам предатель,
уплыл на семь лет в море, чтобы избавиться от семейных
петель.

И съел его не кит Земного шара, а в Лондоне — пудель.

Невеста хранила сердце со смелостью:
Умерла от любви естественной смертью.

Поскольку ж любовь — великая сила,
она и после смерти из соединила.

Вот ведь: на замороженных дрожках, а не как попало
едут едут пан молодой и млада панна.

В костеле как стоя у живой колонны
ксендз связывает им руки двумя кольцами.

Влюбленная с влюбленным смотрят око в око:
первый поцелуй!... Но осторожно:

ведь над миром мерцает
месяц — лунный мерзавец,

потому...
поутру:

вход в костеле, где ангел
есть и был застекленным, —
все исчезает на amen
in saecula saeculorum:

ЗАМЕДИТИРОВАННАЯ КОНКА?
ЗАМЕДИТИРОВАННЫЙ КОНДУКТОР?
ЗАМЕДИТИРОВАННЫЙ КОНЕЦ.

6.

Но в пивнице дорожкарской
меж Кпярской и Коменярской
идет вальс „Зеленый Слон”!
Сивый ус купался в Висле
с огуречечком на вилке, —
пьет с кристальной, сукин сын!
Восклицает мэтр Оношко:
„Пока дрожка есть в окошко,
конь конем, а вожжи — вожжи,
плавает вода у Вислы,
пока задница на мясе,
знайте: в каждом Божьем месте,
до скончанья Мира в бозе,
до свиданья с вами в бездне, —
без вопросов „или”? „есть ли”?
будет будет будет ездить
пусть не пышно, пусть не часто,
пусть одна, хоть не весть чья-то
ЗАВОРОЖЕННАЯ ДРОЖКА
ЗАВОРОЖЕННЫЙ ДРОЖКАЧ
ЗАВОРОЖЕННЫЙ КНЬ.”

SERWUS MADONNA

Пишут пишут книги о секс-страсть в сердце,
грусть с позолотцей, Грядущего Манна,
я книг не умею, не умираю о славе, —
Serwus, madonna.

Не мне книг алтарность, альковность,
труд у лун, венец из ценность-металла,
Tylko noc, noc deszowa i wiatr, i alkohol —
Serwus, madonna.

Были были пред меня. Придут inni po mnie.
Эта жизнь эбб^онова, а смерть лба^а медна,
суть ли сумашествий — проснуться в петле? —
Serwus, madonna.

Как твой шарф цветист, волос робость,
мой колумбарий детства, ты чиста и мятна,
роза грязь отмоеет с рук, издаст венец из роз, —
Serwus, madonna.

Стой стиходвиженец, мошенник у мула,
радость мне — редакции, полиция на конях в мордах,
смейся, мать не мне, любовница, муза, —
Serwus, madonna.

БАЛЛАДА ЭДГАРА ПО

Бил Верховный Час: двенадцать! Думается, что мне делать
над финалом фолианта Знаний Индии и Дня?
Змийка с глазиком бурлила в колбе винного бокала.
Глаз-фиалка, глаз-фиалка заморгался у меня.
„Древо Знанья” — дурь за темя: „мир лишь звон, а мы лишь
звенья”...

Вот ворвется с тростью Зверя
Гость!

В сорок третьем декабре мне соль Столиц — свистулька в
Бремне.

Мой камин ^{как} не мак! — спиралью электричества у лир.
Я смотрю в санскрит, — смеяться? Пью — о сеть сердцебиенья!
что слеза моя стрекозья — бюсту женщины Линор!
Я, бюстититель фразы, Муза! здесь на чердаке маразма,
где оконце — из мороза
лавр!

Как из Индии за Невский запахнемся занавеской
за Нью-Йоркский тост Ленинградский: „кто там в стекла
тростью бьет?”

Может, молотком из бронзы сам Э. По, скиталец бездны
хочет мой лимонец брызны съесть, связать меня за бинт?
Но мы с ним, как с человеком, По-дойдем лечиться к чашам,
руки к рукописи, к чтеньям, —
Брат!

Стужа, стужа у камина, приспустил я два колена,
встал я — столб у кабинета! — и в оконце дал вопрос:
— Сэр, — спросил я, — что ж вы бьете тростью в стекла, как
в балете

Люцифер в цилиндре? Бросьте! — все описано о вас.
Улица переобута фонарями Петербурга,
двор-дворец, петух-петарда, —
вальс!

Люстры, все танцуют гибель, в кресле из сафьяна Гоголь
усмешается с власами,.. Ус махается, Денис!
Гоголю еще семнадцать, Площадь же уже Сенатска.
Пушкин вычеркнут из списка, Лермонтова „демонизм”
еще ящеркой в ресницах, еще рано на рапирах
днесь!

Что вам, Эдгар, наша Росса? Ваши рифмы — Аараф роза,
наши рифмы — риск и розга и кираса и Иркутск.
Где вам с рюмкой-Реомюром — с нашим спиртом-Цельсий-
рудам
у Урала? Улялюмы? Крестной кровью — из Искусств?
Ваша дамская свинина — для дамасского сонета?
Русский мальчик — с револьвером, —
икс?

Вот грядет он в бакенбардах, вот грозит Кавказу в бурках,
в лодке-люльке на Лубянке пишет с пулей: „не винить...”
Вот он в „Англетере” вены водит бритвой, — мы виновны,
напустили крови в ванны и купаемся во вних.
Наши женщины Елабуг, Рождества и в петлях елок,
а не Аннабели Яблок
ведь!

Я открыл окно из тучи: рассекретить тайность трости.
И взошел, бесцеремонен, ворон племени ворон.
Именно: как пиротехник лапой встал на подоконник,
он Линор мою, как мрамор — осмотрел со всех времен.
Он за крылья и не взялся, когти взял, на бюст взобрался,
сел, и что ему воззванья
вин!

Все же я воззвал: „Ты выбрит, с хохолком, а Дух мой вылит
в чаши. Кто есть кто их выпьет? — Ты пророк и я писец.
Если выпьем — ветер выйдет в Индию. Ну кто вам верит,
золотой, зловещий вырод с носом мифа? Не певец.
Ты не трус, физиономья. Гость из книг. Труба финаля...
Как, ответь, твоя фамилья,
птиц?

„Никогда!” — ответил птиц мне... Дикция-то! — радь-песне!
Мужа речь. Два льда в две чаши? Или — в залп и не до льда?
Я, с лицом не социальным, с серпами волос и с сердцем,
осчастливлен созерцаьем врана класса „Никогда”.
Я раскол внесу, как Никон, в птицеводство, птиценигиль,
именем таким, как „Никог-
да!”

Существо сие в бинокле сидит на скульптуре-бюсте,
перо в перстнях и в наперстках, с пряжкой в башмаке — нога.
Пожалей меня, варягу... (на звездах друзья! — вдруг вздрогну,
я писатель письмен в строку, — ни двора мне ни кола.)

Грустно мне, о град — Царь-Токарь!... Не бросай меня и ты хоть,
будем в масти вместе тикать...
Вран мне — в рот мне: „Никогда!”

Рот мой — ряд пародонтоза, а язык — лишь перифраза...
От Иркутска до Парижа и к Варшаве чрез Тюмень, —
телефоны-лафонтены: я повсюду ел лимоны,
фруктожвачное, я лимфы из посуды пил в темень.
Жуть жива: чердак и чаша, клавиши, чайнка Часа,
в форточке балтийска чайка, —
День?

Что ж ты подразумевала, птиц мой, вран мой после зала,
где мой Рим рукоплескала публика оваций-сцен?
Как я жил и с каблуками как я шел и как балконы —
в цветиках под колпаками! — Карфаген и Сципион!...
Как твердил меня червонный туз мой, Герман, тост чиновный,
нелюдь я, — он Человечий
Сын!

Что ты сидишь, си-барита, Ев англист от Серафима,
ты — гостилец мой, зачем ты философию заучил?
Не Линор ли шла, звенела платьицем по доскам Звука,
но по звуку не закапать — микрофон озвучен в зал.
Залпом, залпом! — пей мой за Ли-нор, за Сорок — Век Зозули!
Струнки в странках: все мы Звери, —
льзя ль?

„Никогда”, — ответ. Я думал: ты вещь жива? дай Бог —
дьявол,
буду жить, как ты , у дуба — ни Линор и ни труда.
Но ответь мне: в том Тартаре встретимся ль мы с ней и
так ли,
пусть не в ситце, не в тиаре (извещен я: нагота!)
Будем ли мы там и те ли? — души пусть! — не трать о теле,
говорить хоть с глазу — то ли?
— Никогда!

Будь ты проклят, птиц-заика, Nevermore есть слово знака
из латыни льдинка звука, — испаряется вода.
Ты, владелец птичьа тельца, ты, оратор, ты, тупица,
так в моем санскрите текста этот знак уже — вражда.
В этом доме на соломе, в этом томе на слаломе
мифов, грифов, — веселее
нам, весельчакам „всегда”.

Есть „всегда” для нас цитатник: „Во саду ли Ганс Цыпленок,
в огороде ль Кюхельгартен, в результате ль Бухенвальд?”
то есть Книжный Лес, а в оном — мой Читатель, — о не овном! —
с перстеньком и с омовеньем сам идет с костями ~~жд~~,
в лакированной перчатке бьется в тесной он печурке,
мы смеемся: — Пой по Чаше,
бард!

Вран „всегда” сидит на бюсте, я „всегда” пишу в бумаге
тыща первый и две тыщи семьдесят девятый год.
Он с глазами, я с глазами. Оба смотрим в оба: гири
на Часах!... И с градусами в наших чашах го-о-лод.
И „всегда” Линор из ситца яды пьет в Нью-Йорке секса,
и Священного Союза
гимн!

ПРОЩАНИЕ АРИСТОФАНА

Привет, птицы,
европ, азий,
билет — в климат!

Сто ^{раз} зар по сто
сто лет по сто
их лет — эхо!

Как три тучи!..
На трех тронах
вождей вижу:

вот мой ворон,
войной — филин,
восьмой — аист, —

галер циркуль,
в веслах гоплит,
гребец свадеб!

Своя круги
во все ветры
вперед, птицы!

Язык дан им,
а за морем, —
за мой, птичий!

За чет-нечет
твори триптих,
а ты — что ты?

Язык в небе
заик-нулся:
не чет-вертый!

Что мне в Небе
на безлюдье?
Хотя людям

**я им имя
я с них слова
не взял... Не дал.**

НА ХОЛМАХ ЭСТОНИИ

Что же мне делать? — я люблю львов.
Правда, использую. А не люблю дев.
Люди пусть в люди идут. У меня в ладошке лед:
любят полакомиться льдом львы, а их — два.

Вот по моим холмам, где лунный эст
идет, невинец, бульк-бормотух, и за ним львы идут.
На бульк-башке у Идущего ведро производств, —
эст в опасеньях за ум: все же их два и в глазах у них икс.

Львам ли бояться меня? Человекобоязнь
лишь у людей. Но и я не людоед.
Я их кормлю кроликом. Кровь им нравится без
всяческих предрассудков...

Шел дождь-оркестр, — капли моих литавр.
Двум опасаться что: угроз нет им, — ни клетка-зоо, ни удар
ружья:
ходили на лапах по холмам тяжелые львы,
или лежали, облизываясь, как звери-птеныта без знака отчизн
в моем уме.

ВЕЧЕР НА ХУТОРЕ

Три розы в бокале,
три винных в водиче,
машинка... не^ато — натюрморт!

Вот аист пинцетом
хватает лягуху
на блюдечке на крыльце.

Он клавишу клюнул
как Муза — мизинцем!
Вопрос: неужели нельзя?

— Ключ, как же! — Но аист
взмахнул над холмами
и красная флейта в устах.

И красные ноги
зачем золотятся
у аиста как у пловца?..

Луна вся в цитатах,
в кружочках — мишенью!
Ну — целься! целуйся! — пейзаж...

Вдруг вздрогну: где аист?
Машинка-молчанка.
Нет выстрела... Не поцелуй.

ЛИСТОПАД ЛЯГУХ

Кусает ухо Муза мух...
Не август — листопад лягух.

На листьях, вервиях ветвей
на фруктах в кольцах как Сатурн
сидят лягушки без людей
не квакая как век в саду.
Как августовские Отцы...
Но лягушатами литот
как в воду в воздух как пловцы
не прыгая, — вот-вот летят!
Как лъжницы с прищуром лиц
лилипутьянки-молодня
кидаются как псицы львиц
в окно в горящее в меня!..
Я в зубы взял язык цитат.
Им лампа — маятник для игр.
И пальцами цепляются
за волосы тебя, Дали.

Машинка мужества, ликуй:
на каждой клавише — лягух!

Малюсенький мечтатель ^{буда} ~~блуд~~,
счастливцев в мантии писца,
все бьется ножкой в клавиш букв,
а букв не получается.
Что лягушонок что зверек?
у нот энтузиаст-звонок?
Любимец живности пруда
не бегай к небу к потолку
не упадай: в огне плита, —
людей светильник не потух.
Как междометия — камыш!
Ждут рыбки нас в зеркалах dna...
Не уменьшается, малыш,
ненастоящая — Луна!

ОВЕЧЬЯ БАЛЛАДА

Шесть белых овец приносили шерсть белых овчин.
Седьмая овца была черная.

Шесть белых овец обучили шесть белых овчат.
Седьмая — не обовчилась.

И стало на хуторе двенадцать белых овец.
Седьмая стала тринадцатая.

Одели в овчины двенадцать эстонских людей.
Отъели овчиной двенадцать эстонских детей.

А черная овца — все черная.

БАЛЛАДА О ДВУХ ЭСТАХ

Жили два эста на хуторе, — хитрость!
Два бобыля. Но не брились в январскую стужу.
Было же дело ближе к июлю:
штепсель включил в аппарат электросварки, —
брейся, курат, электродом бенгальским, —
вспыхнет что ни волосок!
То есть в июле они не оженились, а оживились:
крыши у них не хватало, хоть хутор — из лучших.
Вынули из огорода кормильцу-капусту,
лестницу вывели из чердака,
и, чтобы крышу не красить,
оную же из-за шума зашили
лирическими листьями капуст. (Знай цвет: зеленый!)

Так вот:

Герберт из них ползал по крыше
с бритым лицом, как у слона и с задницей тоже в штанинах.
Он прибавил к перекрытьям листья гвоздями из нержавеющей
стали.

(Мой молоток, знай, — звени!)

Эйно:

лестницу взял у лица на коленки,
взнуздал мотоцикл
и колесил по окрестностям хутора
то по окружности, то по восьмерке
с лестницей, чтобы она была у лица на коленях — ведь
вертикалью!

(Нужно признаться — с немалым искусством!)

А мотоцикл был с коляской, в коляске, как ласки — бутыль
был.

Эйно бутыль был подбрасывал в воздух, Герберт глядел и
глотал.

(Вкусно не вкусно, хочешь не хочешь, а пей для новеллы!)

Пил и не менее Эйно, рукой из коляски и для себя доставая.

Так вот они и торжествовали.

Солнце затем не затмилось, а Герберт затмился.

Но по порядку: солнце еще не затмилось,

близко бежали на хутора овцы с глазами евреек,

дети-диеты в цветастых платочках — их гнали,

(Наши платочки для носа, но и на голове хорошо им,
платочкам!)

Дети-генети их гнали, а овцы

шли на цепях, как белокурые бестии каменоломен Рима, —
до гуннов.

В воды у дома из меди ввели тех овец и утопили до утра.
Вывели же корову, доили ее (красота!) — как улитку.
(Вижу я, вижу с холма — уменьшительность взгляда!)
Выдоили корову в ведро... Вот когда Герберт затмился.
Солнце еще не закатилось, а Герберт уже закатился,
с крыши катился, потом по холмам, после по лесу,
дальше... уже на шоссе кто-то шел и окликнул: „Ты, Герберт?“
Отклика нет. Значит, Герберт. Куда он? — к Ундине?
Кильку ловить для еды? Петь, прибалт, Калевалу
в переложении Крейцвальда?...
Эйно взывает: „Где Герберт? Курат! Туле сийе!“
Герберта нет. Солнце за ним из мотоцикла
в хутор бензин! — воспламенится вовсюду!
Герберт очнется, раскается в том, что затмился,
что закатился прежде, чем солнце... Мышцы обдумает мозгом,
в воздух взвьется и прилетит, как приятный колроль, —
на огонек!

Ты же не плачь, а плескай! Рифмой мужской „уголек“
брызнем в бензин! — запыхает, как залп!
Если же не... до чего докатиться
можно!... Ты сам представляй:
Гвадалквивир, эспаньолки, морская музыка,
песни совсем не поют по-эстонски, тьма ни холма.
Ни опохмелья. Хутор-отчизна не светит.
Эйно-предатель не указывает возврата путь.
Ты — засвети! Вам будет лучше вдвоем.
Вот — водоем. Камень-валун подвизается в нем
в качестве супер-ресурса. Мы камень — возьмем!
Купол высверлим дрелью, комнаты выкуем млатом,
семьи соседей дадут нам из овец одеял!
Будем бобьльствовать — больше! Ведь жизнелюбие — не
женолюбие!

Нам ли о чем огорчаться?

Кролик доится в клетке стеклянной в роли метафоры мяса,
кураца в озере крутится в яйцах, ее уже потому что птенцы,
клубни картофеля ждет сковорода маргарина,
бассы колбасы в свиньях во сне! Судак,
четвероножка, бежит по дорожке в четных галошках.
Что нам отчаиваться, — зреет в земле огурец!
В новом доме-невидимке был-бульк-бутыль-бормотуха!
Цокают мотоциклы, лестницы к раю растут!
К жизни — нет жалоб!.. Только бы не затмиться,
не закатиться бы, Герберт, чтобы тебя не нашли...

ПОЛДЕНЬ НА ХУТОРЕ

Сомнамбула-солнце.
Медицинские пчелы
сосут у жасмина
бокалы-электроспирт.
Драконы-деревья
вместо фиктивных фруктов
наудили на ушки
вишени^к-флирт-флажки!
Холм хмеля!

Петух пой-хутор,
с ним пес пессимизма
целуют (о не без цели!)
за пальцы держат цыплят:
кружится нетрус корщун,
глаз — узкий...
Китаец крови!

О кто в копытах?
Конь-кровосмеситель
кует кониной
осьмую овцу...
Гул Голиафа!
Овца, не ойкнув
„Мой милый!“ — молвит,
еще „Мой мальчик,
выйди в люди,
как конь — максимум мяса,
как я — в кудрях!“

Здесь и змеи.
Бассейн. Беседка.
Один в обнимку,
другие в дружбе,
купанье в каплях.

Сервиз-сюприз:
зажрали зверя-зайца!
У гадов
гадовщина!
Но жуть! Но ужас! —

ежи из жизни
смеясь, с мечами!..
Где гады?.. Змеи,
где вам замена, —
зуавы злодейства?
— Нет, что нету:
их с явью съели...

Хочу хутор:
уйдите, уймы
народов в нервах!
Один для оды
я в мир явлен
набатом Неба!

Но больше — но Боже!..
Отдай мне отдых.
Возьми восьмыми:
пой-вой-змей-псину,
коня конины,
овцу ответа,
ежей и иже...
а дай мне а дальше
СЛЕЗ СЪОМЫХ
писателю письмен,
о Небожитель!

БЫЛ АВГУСТ

с уже леденяще ^{еще}уже дешевизна дождем.

БАЛЛАДА:

шел дождь и дрожал наш египетский дом.

А В ДОМЕ

спираль-кипятильник вываривал чай.

ОДНО МНЕ —

грустил фараон, иероглиф писал про китай.

ИЗВЕСТНО:

он чай чифирил, иероглиф из нефти — не пить.

ИЗ МЕСТИ

он зелье варил — заклинанье от всех нефертить.

ОДНАЖДЫ

узнал он проклятье клейма о любви и разбил свой бокал.

ОДНА ЖЕ

ходила по комнатам хутор-дворца и ее целовал.

ХОДИЛА

вся в каплях купанья, босая, со взором в глазах.

ХОТЕЛА

как и китайянки, а как-то: ответствий в звездах.

В ПОДВАЛАХ

вино изыскала и снедь, чтобы творчества волю связать.

ПОРВАЛА

священный папирус... Невинность ему отдала, так сказать,

И ВЗЯЛ ОН

то, что отдала, и возникло ^{воз}с^одействие душ.

ЗАВЯЛА

мыслителя кисть, испарилась в чернильницу ^утушь.

КАЗНИЛ ОН

верховных жрецов и рабов распускал.

КАК ЗНАЛИ

паденье Египта?.. Египет действительно пал.

СЕДЕЕТ

на хуторе в нищем дворце фараон, что ни ребрышко — нож.

В САМОМ ДЕЛЕ:

что делается из любви из девиц, не папирус же из ^{желтых}жалких кож.

НЕ ТУШЬ

из кривляний-кровей и не кисть из ^явассальн^яволос...

НЕТ УЖ! —

я не мерю моралью, я вывод всерьез:

БЫЛА

у меня китайка на хуторе. Тоже боса.

БАЛЛАД

написал я с полсотни. Цвели и у нас небеса.

НО НЕ

обязательно же государством пожертвовать (игро! ^и знал!)

НЕ МНЕ

не любить. Я любил. Но ее из Египта изгнал.

ВОПРОС НЕФЕРТИТИ

отставим музеям: обзор обозренья для всех.

ВСЕ ПРОСТО, ПРОСТИТЕ:

любовь есть изгнанье босых китайнок, иначе не творчество —
грех.

БОСЫЕ ЛИСТЬЯ

Мой дом стоял, как пять столбов, на холме с зеркалами.
Топилась печь, холод хорош, а стекла-ртуть зачем-то
запотевали.

Как говорится, грусть моя не светла, направо дверь-дурь
белела.
Да в жилах кровь, как мыльный конь, к пункту Б бежала.

„Конь-кровь”, — я думал, — какие в сущности рифмы смысла?
„Грусть в горсть”, как в воду из водопада! — иссякла сила.

Сад, как и после, опять опал. Но листья почему-то не улетали.
Ходили вокруг дома, как воры-расстриги, как будто с холма
Кремль увидали.

Босиком, как скитальцы, они стояли на крыльце из цементу.
Комары-мухи их не кусали: обуви на них нету.

Я не гостеприимец... Взошла, как водится, луна: как в
крестьянской балладе-свекла.
Да дверь раскрылась, как от крыльев!.. Свистали стекла!

* * *

Не гаси, не гаси наш треног:
мотылька не помочь у огня.

За окном туман-море тревог:
не гости, не гости у окна.

Ни в горсти молотка не принес,
не иголки до завтраго дня.

К потолку наш треножник примерз:
эта лампа не греет меня.

О, не греет, а грозно горит!
Ни грустильниц, ни дна, ни вина...

Даже голосом не говорит
эта комнатная не луна!

ДЕЛЬФИЕЦ

Я собираю мраморные свечи
рукой у Спарты в смертную суму.
Ведь были слишком солнечные сутки:
грибницам — гибель... Нечего к столу.

Как поводырь кружу себя по лесу,
ищу клюкой... Но чужд и лесу я:
повесил арфу где-то... Про поэму
чуть шелестят у листьев лезвия.

Я признаюсь: я нищ, но не безумец,
но не Тиртей у хора. Я илот.
Я знаю время: месяц, безымянец...
Стою, — не спрятаться, — Стой, кто идет?

Из-за стволов шагает в шлемах юность:
тельцы фидитий, в кисти по мечу...
гул у голов у них у легких емкость:
— Ты вышел в день у леса. Почему?

— Я собираю мраморные свечи.
А потому, что Аполлон угрюм...
— Ты нам известен. Где же арфа, старче?
Ты выйди в ночь в лесу и мы уьем.

— Меж двух дубов с вершиной в форме альфа...
— Ты выйди ночью, лучше с фонарем!
...на перекладине, поверьте, арфа
повешена... Нет звона у нее!

А ввечеру, когда мы кипятили
и плакала жена, и ели лук,
в углу светильник бабочки кусали, —
был эфорат... И вот вошел Ликург:

— Уйди в Афины. Эти вышли с сетью,
их семеро у дома, — все на пне!
— Спасибо, царь. И я, как ты, седею.
Я лишь илот. И ласки не по мне.

— ТЫ ПРОРИЦАТЕЛЬ. ГЕНИЙ АМАЛЬГАМЫ.
ТВОЙ ДУХ ДЕЯНЬЯ — ТАЙНА ТУЧ И СИЛ.
КОГДА ПРИШЛИ ДОРИЙЦЫ И АМИКЛЫ, —
НЕ ТЫ ЛИ В СПАРТЕ СВЕЧИ ЗАСВЕТИЛ?

ТЫ ИХ УБИЛ. ТЫ СПАС НАШ РОД, ДЕЛЬФИЕЦ!
Но знай закон: у криптий нет сатир.
Я царь, но здесь как вор... судьба в деснице...
— Тебе воздастся.
— Я вошел спасти!

Луна ясна... У кремня есть кресала,
найдется искра им в моем гнезде.
Я сел к столу. Поставив для квадрата
и зажигая свечи, я глядел:

Вот *этих* семеро. Вот взяли сети.
Вот встали с фаулами: сабли! свист!
Я ЗАЖИГАЮ МРАМОРНЫЕ СВЕЧИ.
Я — ВИЖУ ВАС. Я вышел для убийц...

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Я обращаюсь к пятистопным ямба.
Мог

Я ^{мог} возвращаюсь бы амфимаком написать
симфонию нимфетки и Нарцисса.
Я мог бы вмиг вторым клинком Алкея
как страус клюнуть юношу в сосок:
вот — сердца сейф, а вот вам ключ — Сафо.
Мне вмоготу (мой Бог!) пеаном третьим
третировать либретто о любви.
И развернув пентаметр, как папирус,
все о себе, об авторе, объять:
вальсирую, завещанный от Бога,
мне труд не в труд, скитальцу грешных скал,
я — в зеркале, я скалолаз-Нарцисс.

Но... возвращаясь к пятистопным ямба.

Но амфимакр у нас еще не наш.
Симфония аука-скалолаза
к у-кодексу поближе, чем к любви.
А эру эволюции Алкея
наш Лемнос объяснит у скал Сафо.
А у пеана предопределение:
кто вы, солдаты сабель Ксенофонта?..
Пентаметр — Гнедич в яблоках списал.
Как дон Жуана — Гнедич, но Татьяна
в концлагере облюбовала том:
сочувствую субстанциям судьбы,
но плачь-не плачь, а том — брысь-байронизма.
Был Пушкин — эллин. (Все же пусть не Байрон!)
А эллины писали не для дам.
Нам эллинизм ничто и не в чести.
Аннексия трилистника-трико! —
Ну Анненский! Наш сад многолистажен.
О трикотаже: Муза Мандельштама
была обмундирована в хитон
без пуговиц...

Кузмин казним форелью...

Стой зависть! Пересмешник-переводчик:
у нас есть крепость, в крепости есть кресла, —
пиши по шее получай свои сикль.
Чей сад? Чьи вам читатель чудеса?
плюмбум свинца? или сонет свинины?
библейки? рильки? лорки? элоарки? —

чья форма — арифметика для рифм?...
Четырехстопный ямб менаду ел,
он чтой-то чересчур четвероног,
четвероножье же — питающ млеко...
О ргуть моя! Журнал моя! До боли
нам ясен путь: он — пятистопный ямб.

Хотя бы тем, что не хитер в трахеях,
не скалит клык, услуг не платит плугом,
не хвалится хвостом, как волкодав
(клыком ухватит волка, — все же трусит,
все ж волк, а сей — из своры, свой, дворняг!)
не омолаживатель муз-молочниц
и не молоконосец этажей
ажиотажа... Чьим-то человеком
с вассальными власами, без лампад,
не станет весь как есть на четвереньки:
две кисти на кровать, две босиком
на коврике, — о вынимай... вино!

Мой стих мне ближе зарисовкой Зверя...

Так в летописях Дария был пес.
Ну мускулы, ну челюсти калмыка,
ну молнья в беге, ♣ в битве так, как в битве...
друг человека... Дарий одарил
в знак дружелюбья (дружелюбие бойни!)
кого бы? — Александра! кем бы? псом!...
„Я в Индию иду! Там идеалы!
Моим солдатам зерен нет неделю!
Мои рабы без рыбы и без баб!
На что мне пес — он меч мне не наточит!”
И здесь узрел он узел издевательств.
„На что способен сей? — все ж спросил.
„Сейчас лежит, — ответил просто — перс,
„Так запусти ему на драку барса,
пусть он — поступит!” Дарий запустил.
Барс бросился; по правилам пирата:
ревел, как на раба; кусал клыком!...
каменья кварца, восклицая воздух
в окружности на пятьдесят в шагах.
„Где бой? Где крови кружево? Где шкура
пятнистая?” — маячил Македонский.
„Пес, думается, спит. А барс боится,” —

ответил Дарий... Барса увели.
И вывели слона. В столбах и в силе.
Из пасти бас из хобота из кобра!
И бивня была два — как двойня смерти...
в окружности на двадцать пять в шагах.
„Что пес, — постится? — взвился Александр, —
Сломай слона! Уйми его, ублюдка!”
Но перс сказал: „Я думаю, он дремлет.
Слон трусит.” Пес не дрогнул, пес дремал.
~~„Так выведите льва! Он — Искадер! Он — Я!”~~
Льва вывели... Сто тридцать семь солдат
спустили цепи, обнажили шлемы
к сандалиям... Действительно: был лев.
Стоял на лапах. Львиными двумя
не шурясь на лежащего не льва
смотрел, как лев умеет...

Пес проснулся.

Восстановил главу с двумя ушами.
Восстал на лапы. Челюсти калмыка
сомкнул. Глаза восставил, не мигая:
(лев языком облизывает небо...)
ВРАГ УВИДАЛ ДОСТОЙНОГО ВРАГА.
О схватке: летопись не осветила.
Впоследствии: пес Эллина спасал
энэнность раз от зева иноземцев.
Писали: почему был всемогущ
Зверь? Потому, что был любимец Ямы?
имел в запасе пятую стопу...
Но не имел. Напрасно. Мы не персы.

Читай, читатель! Я — лишь Геометр
стихосложенья. Ты — гомункул Чрева,
ты выйдешь в вина о пяти стопах.
Пей гость Пегаса юность Ювенала!
Ты — столб в пустыне. Ты — Авессалом!
Вот отрок: сам в пустыне столб поставил
себе и рек: „Се — столб Авессалома!”
И тем столбом прославился в веках.
Святая слава! Делай дело для —
запамятуют, для чего ты делал.
И делал дело и Авессалом,
был не безвестен даже, — сын Давида,
библейского царя, он был красавец
(легка легенда! мало ли красавцев!)

„Так выведите льва! Ну, носик-носик!
Лев царь царей! Он — Искадер! Он — Я!”

он — волосы имел (кто не имел?)
Но дальше — больше: волосы по весу
имел он: знай: при ежегодной стрижке
по двести сиклей! Больше всех библейцев!
Но дальше: даже на отца восстал
из-за сестры, которую насильем
взлюбился брат по имени Амнон.
Сестру именовали мы Фамарь.
А царь Давид ни слова сыновьям
не сдал. Авессалом убил Амнона.
И вот — восстал. Взял двадцать тысяч войска,
а для себя взял мула. Въехал в лес,
в лесу был дуб. Запутались в ветвях
у дуба волосы Авессалома.
И он повис. Висел. Еще был жив.
Мул убежал... Но — сердце! Эту сцену
увидел Иоав. Как полководец
Давида, он убил бунтовщика,
увидев... Вот вам песнь о волосах,
казалось бы... Но волосы — забыты.
Существеннее миф о волосах
Самсона...

Здесь же: кто есть кто? —
Амнон? Фамарь? Восстанье? Иоав? —
Никто — никто...

Есть „столб Авессалома”,
поставленный в пустыне так, как есть,
до библь-страстей... Уж если есть пустыня,
то почему бы в ней не быть столбу?

Читай меня, читатель! Столб поставь.
Не жги, как Герострат — хороший храм.
Одумайся — двойное деянье:
прославишься, просяк, но... привкус прессы:
он — супермен, пловец, он — диссидент,
а то — первоапостол атеизма...
Двусмысленная слава. Храм не жги.
Но столб — поставь. Советую. Сей жест —
изящнейший! — не нужен и Нижинский.
Вот люди: любят, нищенствуют, лют
металлы бомб, хулят архитектуру,
защита за животных, рай-ресурсы,
Земля!... Часть человечества — стихами...
А ты — сюрприз: поставил столб в пустыне.

И именем своим свой столб назвав,
взял, умница, и умер. Изумил.
И Я КЛЯНУСЬ: СЕ — „СТОЛБ АВЕССАЛОМА”.

Прочь притчи! Ты читай меня, чело!
Знай за меня, — я сам собой не читан.
А мной, как нарицаньем, написали
цветок шрифтовщики-александрійцы:
их истин пепелищ не доискаться...

Публичный плагиатор в термах Рима
Овидий объяснил, что мой отец
бог вод Кефис, а мать Лирионея
(латиница!) купальщица воды.
Я бился над водой и вот влюбился
в себя донельзя. Сам себя растлил.
(Овидий был судим за сутенерство).
Занитересовавшись, Зигмунд Фрейд,
как невидалью, водной процедурой,
во медицины имя, вдруг возвел
воздействие вод на секс-психоанализ:
я — первый постулат... (Фрейд стал смешон).
Простим же им ритмическую прозу:
о прозорливцы, талмудисты тел,
ведь первый был мистификатор-мим,
второй — симпатизист семенников.

Я сын Эллады именем Нарцисс.

Слепец Тиресий мне сказал судьбу.
(Читай: „Метаморфозы”
и аксиом сей был неоспорим.
Я жил как жил... Но жить как жить?.. но как?:
я шел в шагах меня уже любили
садился в стул присаживаясь при
с признаньями, ложится я на локоть
хватили веер от укуса мух,
заболевал писали эпистолы:
архонты нимфы пифии флейтисты
ученики умнейших уст Сократа
губицы-устрицы агелы Лесбос
беседы в банях на скамьях судейства
на пляжах рощ священных клуб Кефала
в амфитеатрах распустив хитон

вывешивали фалл фигурой флейты
брильянты Бирмы чайфарфор Китая
на рынках за завесой от дождя
на виллах за стеклярусной завесой
давали девственницы ягодицы
кусали старцы челюстью костяшки...
Не лгал. Но не желал я их, живой.

Не трать трагизма: я ушел в скалы.
Запомни вот что: я не знал телес
ничьих... им несть числа!... но некий знак...
Читал часы. Оленя путал сетью.
Ловил кресалом пламя. (Зов зеркал...)
Спал на скалах. Не то что полюбил,
но был мне первостью цветок. Он вырос
у изголовья на ничьих наскальных
травицах. Я назвал его нарцисс.
Когда я спал, он мне менял лицо...
А вообще-то был он пятилистник.
Я спал все луны под оленьим мехом,
не мягок мех, скала не теплотворна.
Оленя ел во время водопада:
пил дождь с ладони, если было в дождь...
Сам по себе. Я знал: зеркальны скалы.
Смотри, смотри же, смертник! Я — смотрел.
Я не о том!... Не там! Я лишь опять,
описывал ^а опус нарциссизма,
отписываю ямб себя — себе.
Я ^{ар} сн/себя — всевидел. Не сумел
быть в двойстве. Обесмыслен абсолют:
невероятность ясности слиянья
себя — с изображением себя...
Читай, ты узурпатор губ глагола:
я обещаю грифельность волос,
их кружевность на шее, семиснежность,
хрусталь ключиц кастальских (я не сплю!)
и поцелуи пальцев на соснах
у пишущей машинки (пятьдесят
их у нея). Цитируем цинизм:
на фалле же — флажок из зверя фиги
(такое зверя вкусное росло!)
Невинность лишь у ненависти... Я
невинность у любви не объявлял.
Давайте так: да здравствует девиз:

„Язык мой звонок — скалы не лизать!”
Я — сам в себе. Все остальное — Слово,
осмысленное, смертное, как вещь.

А ты пиши, пиши свои пятилистник!

Пиши, пришелец прессы! Поспешай!
Вот крадется замысловатый зверь,
он о пяти стопах, он Византиец,
Апостол Пятый!...

Визу в Византию
ни дать ни взять, — не то тысячелетье.
А крадется...

Державин утверждал,
что хвост у Барба (есть же Барб — Байкала!)
совсем не хвост, а пятая стопа.
Сомнительно: пускай Державин гений
И Гавриил, — но все ж не та труба!...
На скалах скользко спать... Но сплю... Цитат
пульсация, — кошмар!... Читатель в лампах
лежит плашмя и чей-то час читает
и чей-то через час...

Трясись, Тиресий!

КОГДА МЕНЯ... ЧТО ИМ ОТВЕТИШЬ?

Когда меня в законы закуют,
дверь государств гвоздями закроют,
и за колючей проволокой прав
я стану с телом знаменит и здрав,
озера спрута с лампами лилей,
и зал иллюзий, и измена конниц...
не забывай за колбами людей,
как за никем я стану незнакомец.

Но ты предашь меня — за двух колен
мне поданных рабыню для измен,
за узы уст (о как нежны ножи!)
мною останавливаемых от лжи,
заплечья мастер, пилигрим от плеч,
за явность ятр, за многократный меч...
И вот во имя жизни как любовь,
во *избавленье* тела — как от лезвий! —
отмоет мир с тебя мое клеймо,
поднимет час для чести с двух коленей.

Когда меня цирюльники цитат
в глазунью абрис бритвой обратят
и целовальники вкуют в венец
мой царственный дурацкий бубенец...
Пусть не узнаешь устное лицо,
пусть: перепутай логос безударный, —
не забывай двойное царь-кольцо
двуглазья и хрусталик — Божий дар мой.

Когда меня, как ноту ню в аккорд,
в Словарь — не без нелепостей арго,
по буковке букеты плетть и петь,
и позвонков моих коснется плетть
во имя *классов*, или *красоты*
мяучим умываньем (Ной был медник!) —
ты позабудешь ноты и цветы,
ибо их *не было* и *не имел* их.

Но ты поплатишься меня лютей,
когда *вздохнешь* *всей грудью* для людей,
при рассмотренье их из-под руки:

на сценах *сердца* бьются петухи,
ласкают — лишь бы, ложью льют бокал
что в *кругозоре* у орлов у скал
коровья кровь, что *чувства* — лень и впредь,
тебе (пропащей!) — в прошлом леденеть,
и отдавать кровь живу глянца глаз
как мне, как на обмен, как не сейчас...
По чьим часам Верховный Час отвесишь
чьим телесам в чьем *честном* почему
за меч меня, за вход в мою тюрьму
что (безответная!) ты им ответишь?

ОЗЕРО — ЗЕРКАЛО ЗВЕРЯ

В ЗЕРКАЛЕ ЗВЕРЯ

цельсий Нарцисса

замерз.

Куколка слез

каждая вымыта именем Дня

в ОЗЕРЕ ЗВЕРЯ.

Зверь златоглаз.

В ЗЕРКАЛЕ ЗВЕРЯ

что осталось от лица? —

лишь глаз,

лишь голос.

Глаз выключает выключает век.

Голос выкует ворон-враг:

вывесил ворон метелей

медь, —

не до мелодий!

А за спиной ночует олень,

искры из рог —

огнь и огнь

в ОЗЕРЕ ЗВЕРЯ.

Что им, народам, что Космос — кров?

Что и Нарциссу, народ, — наш нрав?

Плывать в озерах, как в зеркалах,

в метаморфозах бессмертья.

НИМФЕ ЭХО

Но нимфа...

Ты — эхо меня где-то где-то?

Вблизи лишь Луна,

келья скал

да звезда

за водой.

Живая

желая...

Что возглас из воздуха где-то тебя? —

Кукушка-аук, —

не мне, невидимка!

ГАМЛЕТ

Я даже думал: звать или не звать?
Идти в итог, или забыться здесь?..
И кто-то бил копьём в окно, — как знать? —
не человек, не бабочка, не зверь...
В душе уже отрекшись от венца,
я звал Творца, чтобы у зла узнать:
пой, призрак распрекрасного отца,
позволившего *так* себя убить.
Я знаю сказку, как позволил Лир
свести себя с ума, — я прилеплюсь,
не лицедей, но и не лицемер,
я безбилетник, с чеком притворюсь.

Был пол отлакирован и звенит,
Бы^Узал — от варваризма вензелей.
Полоний — дух Лаэрту был „за нет”.
Бальзам варился в кубках королей.
Трагедия отравленных рапир?
О нет! На троне трепетала мать.
Так гением немыслим разговор
о ней, и рока нету и не месть, —
о правда! в той завистливой ~~чаре~~
червяк телес убил орла седин, —
о брата! И женился на жене.
Я отрекаюсь: я — ничей не сын.

Яд — пей Гертруда, бедная, — труды
прелюбодейства или живота
за женщин или жвачных у травы,
или Офелий, — „дева иль жена” —
альтернатива с перспективой „власть”.
И взвешивать регламент гирей каст,
блюсти себя и пушечную весть,
давать детей для даты государств,
или сходить с ума (да был ли ум?)
по смерти подлеца-отца без „ли”, —
так ли? И петь, и плыть, как на балу,
тонуть! Я отрекаюсь от любви!

Но радуется^и роды от пелен:
убит герой, на королевстве — трус.
О жизнь! Лишь ожиданье перемен,
как в карты: или тройка, или туз.
Герой? Он может мощью полюбить.
Откуда взять взаимность — лишь мощам?
На фантиках, на бантиках понять:
трус — труса, раб — раба и мима — мим.
Нам даден мир не профиль, а фас,^{в рабах}
где ум — там с колокольцами наряд.
На Данию, норвежец Форгинбрас,
я отрекаюсь: вы — не мой народ.

Был мозг отдатированный, как зал.
Я шел, как жил — на иглах каблука.
Балл музыки — рапира и кинжал,
и правая, и левая рука.
Блестел, отлакирован, в досках пол.
Взлетали души (души ли?) без тел.
Их было семь и каждый (как же!) пал.
А воздух варваризма дул... и бел,
что я виновен, ибо их убил,
мерзавцы пусть, но человеки ведь,
не мной исчислен времени удел,
а Там (Читатель Йорик, челюсть — есть?)
Итак итог: созвездья всем ли врут?
Я рву билет и разрываю чек,
и если это человеки вкруг,
я отрекаюсь, я — не человек.

ДОН ЖУАН

— Дождь идет, дождь идет,
дон Жуан! (М. С.)

Мне
женщины были?
Я женщинам был?
Из вервья из лестниц — лифт! —
любовь ли?
А юность — лоб и бокал,
шпага
и
шаг
тех
лет.

О да
до окна
дождь идет, дон Жуан.
Дождь, донна Анна. Дождит.
Стол яств.
Гиля люстр.
Ни
невест
и
ни
жен.
А дом Командора
дрожит.

Кому,
Командор,
Статуя-метастаз —
ревнивец и каменный вес?
А медью из денег —
изданье до Муз
у вдов,
а взаимность — венец.

Кто в Ад меня, мнимый,
концепций конца
завистливец рук и лекал?

Я лишь исчислял по таблицам Творца:
вы — лгали.
Творец
мне
не лгал.

Ходили на лапах тяжелые львы.
Мозг
мой
к
ним
приятель
имел.
За дваностью дев
любопытство любви, —
любви ли?
Я
их
не
играл.

Кто муж героизма
мой меткий металл
осмелился
бы
осмеять?
Лишь Статую выдумал Век, —
минерал
с десницей:
себя оправдать.

Кто тот же ласкатель
мышей —
в мой музей!
мыслитель
и
логик
про суть?...
Вот — шпага моя.
в мешанине мужей
найдет
свой,
ей свойственный путь.

ПОСЛАНИЕ ИОАННУ

„Я Алфа и Омега есмь. Я — дан.
Я первый и последний, Иоанн.
Твой остров — мой метающийся Дом,
где око зрит одно лишь — океан.
А семь золотых светильников затем,
чтоб чаянья и чудеса не греть.
Я опоясан поясом золотым
по персям, — чтоб ни с кем не говорить.
Пред просьбами протестов и потерь
животному с лицом, как человек,
оставьте облаченного в подир, —
я не приду для правды в этот век.

Читающий и слушающий Слов,
смеющийся щеками же в себе,
все ж соблюдающий диету слив,
не сомневающийся ни в судьбе,
Я, вас омывший в омутах (где Дух?)
Я, возлюбивший вас же и во зле...
Вот — возвещающий Петру петух,
клюющий время зерен на земле...
Написанному верящий, — о племб!
Науськанный на Голос, что велик.
О близко время! Вижу вживе блеск:
меч первенца меж мертвых и владык.

В моей деснице семь знакомых звезд.
Вот — волосы, как белая волна.
Меч уст моих пусть обоюдоостр, —
не ныне! не ответственую, война
ловцов душ человеческих с лицом
животных жвачных, но с глазами грез.
Неправда от Матфея — я ловцом
не жил, и не за них я шел на крест.
Я думал: Дух дыханье посетит.
А ты в ответ: лишь остров-океан.
Спасибо, соучастник в скорби, пес,
тебе скажу:

— Не бойся Иоанн!

Встань с колен. Сбрось цепь земных царей.
Листов моих на стали насуши,
и если где осталось семь церквей,
лишь ты отважен, — ты им напиши:
— Я первый и последний и я — есмь.
И живой, и был мертв, и се — я жив.
Еще в венках не зацветает ель,
я не приду для правды язв и жил.
Не мстящий, но молчащий без сетей,
для Зверя оставляющий клыки,
имеющий ключи от всех смертей...
Имеющий да спрячет их, ключи.”

Л л
Что рифма! — коннице колоколец!...
Я жил в саду обнаженных женщин.
Змей на хвосте их не заморозил:
в руке — по фрукту!

Н
На вертелах — искрометны омы,
бассейны в линзах Венецианца,
кефаль и флейты... Луна светила,
как цвет малины}.

Я жил в саду обнаженных женщин,
волк-виночерпий, браслет Фалерна.
Я брал их девство, а пел пеаны...
я брал, как бритвы!

Я брал их правда, но лиц не трогал.
(Дельфинам-двойням — в талантах тела!)
Что рифма! — ценит окружность Циркуль...
Я не любил их.

О сколько лгали глаза цветные!
Клеймил, — мумились. В запястьях — зависть.
Но в тайной Башне (чело — для Часа?)
на ключ забрало!

Мой меч исчислен. Зеркальны формы
у дев. У конниц копыта босы...
Как зарифмован, в глазу Циклопа
горел мой гений!

ДО СВИДАНИЯ, КНИГА

До свиданья, Книга. Прощай, почерк.
Взята в найм, нелюдь. С кем с вином путч?
Нечто из плача. А при чем притчи?
Ты припрячь (их лучше), толмач притч.

Юница-чтица, рай-дуга-Рубенс,
не читается мой циан-лавр.
Книга есть реальность, а не ребус
вам, Ликург в лампасе, у руля у лир.

До свиданья, Некто. Будь как будь в людях.
На челе меч блещет, юн, как Ной!
Только вот что: не иди в латах,
ты иди с Луной (босиком на ней!).

Ты иди так же тяжело, — так идем все мы,
на виду невидимки, маятник рук.
Только вот что: не иди в воды,
не свяжи сетей, если даст Рыбак.

Если Брат даст виноград — не пить,
Дева даст объятья — обойти.
Это ведь люди. Ты же в людях — нелюдь.
Не обрежь тебя им и не обрести.

Нам не свидеться, Книга. В климате молекул
не деваться нам. Воскрешай — *то!*
А не имеешь места, — мой тебе мускул,
два клинка войска!... Улетай от.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Труд Гертруды окончен.
Одинокие Римы,
смотрят люди в оконце,
уши — парные рифмы.
Личики как яички,
на челе — единички.
Смотрят люди в оконце:
в каждой лампе — огоньце,
у Луны молока нет,
а Луна — молодая.
А два уха людские
при Луне — ледяные.

Я иду по Афинам
скифом — по анемонам.
Колизея колонны,
Вам, Варшава — каналы.
Прага из парафина.
Эст — в холмах Парфенона.
На Монмартре — Манхеттен...
Въезд в Фонтанку под ливнем,
Медный Всадник — макетом,
цепь на мостике львином.
У оконца Ленива
ждет меня, — Михаила:
я бутылку люминала
взял за рубль в магазине^а.
Я смотрю с интересом:
Кесарь я или слесарь?

О не от люминала
под луной Ленинграда,
я умру до Урана
в трюмах рудник-Урала.
Нет в тех трюмах оконце,
околем у околиц
незапамятным Киршей,
как предсказывал Китеж.
Над Евангельским ранцем
откуют совы свиста
в русском, в райском и в рабском —

в трех синонимах смысла.

Завтра звездное солнце
Закукует в оконце,
Встанут в странах со млатом
Труд, Отвага и Младость!
Им ли гримы Гертруды,
Ильмень-грифельны грусти...
Жизнь моя! ты — мечталка,
с рифмами дурачонка,
старушенца-мальчишка,
стариканца-девчонка.
О одумчивость духа!
Тяга к девобелугам...
У меня вот два уха,
хладно им, бедолагам!

И УВИДЕЛ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ

НЕБО:

Всевышний Паук обвязал цепочкой Луну,
обвязал над Землей
и как-то качает:
вот — выше! но... ниже.
О псах. Псам лизать звезду.
Завидую.

КТО ВИДЕЛ БОЛЬШЕ ЛУН, ЧЕМ ДЕВ?

ЗЕМЛЯ:

оттуда овца и отсюда овца.
Овца лежит на крыльце из цемента,
смородину ест.
Если снять кудри с нея — с вами свинья.
Цаплю — на цепь! В переносном смысле.
В прямом: стоит солян-столб. Нога заземлена.
Где-то глядится окно,
как из Америки — инк!

ИЕРЕМИЯ, ГДЕ МОРЕ?

МЕШАЕТ МАТРОСУ В ДВИЖЕНИИ ВОД
ВИДЕНИЕ ДЕВ.

Дождик дождит. В виде воды.
Но мотылек-лунатик ходит в саду
с зонтиком, так ли?
Множится, может быть.
Атом и сфера,
девы ведуньи
сдаются на милость
меня, мотылька.
Значит зонтик — невидимка.

ПРЕЖНЕЕ НЕБО И ПРЕЖНЯЯ ЗЕМЛЯ
МИНОВАЛИ,
И МОРЯ УЖЕ НЕТ.

ДЕВА-РЫБА
(1974 — 1975)

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1

Нет гнева у меня, нет гнева.
Есть вены, в них луна и миражи.
Жуть рая — жить. Волшебна власть геенны.
Я просто пал, как свиньям желудь лжи.

2

Но мир — *но* мы. Но светозарен Бес.
А тот, не-бесник — плутовство и плен!
Чреватость чрева и бездарность бездн
еще в наскальной памяти поэм.

3

Но жизнь — *но* жизнь. Не во скалах скульптур.
Не во надзвезде, — слякоть о главу!
Сметана спермы, светлый смех скоту
во отрубях, во плеске оплеух.

4

Не веселись. Не пал. Я просто плох.
Я не боюсь ни Бога, ни Тебя.
Боюсь, что Ты — лишь ты, а Бог — лишь бог, —
для оскопления Зверя и телят.

5

Не вовсе волчья ярость. Не Анчар.
Оставленный, под лай и улюлюк,
оскаленный, (ни слез, ни по ночам!)
отравленный, всем говорю: ЛЮБЛЮ.

* * *

Слова слабы
А жизнь — желанье
Овал судьбы —
Жидом журнальным.

Ликуй, ошейник!
Правша, левша ли...
Жизнь? Лишь лишений
бы не лишали.

Хоть бы лишений
не лишали.
Нам лет леченья
Но бьют лежачих.

Но бьют. Но Брат
будь ^{добр}добр, как не был.
Мы бьем в набат
глаголов гнева!

Пусть глас наш глух,
зеницы — пленки,
мы вникнем в слух
сквозь перепонки.

Так неживой
признался честно:
— Все ничего.
Все так чудесно.

И просто так
готов рыцать я
от пустяка —
рукопожатья.

РАССТАВАНЬЕ

На Фонтанке ни фигурки.
Фо-о-нарики — фарфор!..
Финтифлюшка ты и фруктик,
фрагтовщица фор,
фаворитка и Фелица,
фрейлина и фант,
феминистка — фаталистка,
фараон фанфар!
Филистер, фискал и феска,
фармазонка, ферт,
феофановская фреска,
фея!

 Фу, у фей
фигурируют ферменты,
фаллос, фея, — факт!..
филигранные фрагменты
фраз моих на „фа”...

До любви ли, любимая? Спруты тюремных бульваров.
Сам я спрут под фонариками. Где я? С кем?
Нет тебя, как ни больно. Как не бывало
в незаправдашнем, ребусном языке
русском

 буквы „ф”...

 Этой буквы!

МОЙ МИР

Не сплю.
На блюде одеял я — мерзлый карп.
Не с пуль
ли каплет мой последний кап?

В окно
ли каплет кнопка — сердце — пустоты?
Ох ночь!
Не сплю, мой карандаш — о ты.

Что я,
что ничего не получается, — плачь, но
чьей, чья
ты в будущем, ты-там? Я — ночь,

мал, гол
я осмотрелся и узрел окрест:
монгол
ли дирижировал нас двух — оркестр?

Да медь
литавр не состоялась. Был — цирк.
Да ведь
и мы — монголы, трусы, но бойцы.

Дин-дон!
Мы оба, сам старался: „Обниму,
дай дом
моих молитв не одному,

дай Дам
для живота и для ушей,
дай храм
моей полузадушенной душе!”

Мил, глуп
я, то есть стих мой — квак болот!
Мы-клуб,
где танцы, ебля и блевот

весель!
Не „я”, не „ты”, не „мы” — „оно”!
Ведь все,
как все мы, одинаков — одиночек.

Мой мир!
лжелозунг! да и я — лжепилигрим,
как мим
с лицом в слезах (одеколонный грим!)

ОКТАВЫ

1

Пишу (не пишется) октавы.
Как знать (не знается) — о кто вы?
Вы обморок моей отравы,
мой века, мои оковы.
Так бьются варвары о травы,
захлебываются от крови...
Оправдываюсь, — глупость уст...
И неминуемая грусть.

2

Что женщина, — на „ты”, на „вы” ли?
Отмщенье чувств, сочувствий кладезь?
Мы пали пулями навывлет.
Теперь ласкать нам или клясться?
Невы террасы и немые
холсты „Летучего Голландца”.
Спиральки буквиц в лампах лир...
И неминуемый не мир.

3

Ум наших мук, твоих, товарищ
невеста, баловница блуда,
в терновой (мармелад!) тиаре,
вы — баба (нет, мужичка!) бунта,
вы с кем попало так как будто...
Оправдываюсь, — святость уз...
И неминуемый союз.

4

Я — тоже. Та же ветвь варяга.
Блядей бурлак, блюститель бара.
Я может быть для вас валялся
на лестницах, или на бабах.
Но распят — я. А вы — Варава.
Жрать хлеб и соль и не до бала.
Билетики любви без мест.
И неминуемая месть.

5

Но вместе милая молиться, —
не получается. Мириться, —
на получас? Не май манится.
Что в мести — моль, или мокрица?
Вне времени нам время мнится.
И вне мечты, вне пульса нерв...
И неминуемая немь.

6

Объяття уст — сироп Карузо
самцов телес и самок теста, —
и вылетают карапузы,
досрочно кончив курсы детства,
ордою бабочек — капустниц
на огороды людоедства.
Ни жалоб! Цепью! — и не смей!..
И неминуемость семей.

7

Мы однотелы, однооки,
мы односерды в сем пространстве.
Да, отделись. Да, одиноки.
Да, одинаковы. Про страсти
распространяться? О давно к ним
есть интерес — псов постоянство
и лай любви, и р^эспри, но
вот неминуемая ночь.

8

И Петербург, дворцы, каналы,
и в плеске пьяниц (ты — на после!)
как без тебя! — как бред! — как мало!
и ужас у меня — как пользы
как ни в октавах, ни в карманах
медяшками звучащих рифм...
И неминуемый не Рим.

9

Я сам Аттила. Ты благиня,
несовместимость нас? — не знаю...
И зло в ползло и гимн в полгимна,
и все вне нас и все не с нами
и мы вне всех... Беги, богиня!
Ты — тело, я — сову на знамя...
Я сам бегу, рифмуя бой...
И неминуемая боль.

10

Боец монаший! — мешанина —
пляс — табор, аскетизма трепет,
целую пишушей машинки
кружочки клавиш в День Творенья, —
.....
.....
.....
.....

ЭЛЕГИЯ БЕЗ ЛУНЫ

Меченосец судьбы и чернил санкюлот,
узник — устрица, сам себе сын и друзья...
затемненье дождя
за озвученным стеклом.

Рамы, рамы, решетка тюремная рам! —
о распятыя жилья!
Жалил я! —
комариной иголочкой мелодрам.

Человечек — личинка, витая в веках
алфавитом любви, —
я ли, вы?
Клоун космоса, или синица в руках?

Н^и истерик. Скрипичные нити жил.
Капли в форточку, — бомбардируй, камнемет!
Или каплет мед?
Ни души.

Каплет, канет... Ни слов! Если голову вверх —
васильковые лампы, как воеет ковыль,
в электрическом небе бессмыслица крыл, —
вот и век!

лаской лавочника — „иметь не иметь”,
как он сердце свиной мое обливал...
О болван, —
тот, у скифов, которому клятвы и месть! .

Как талант мой, как вор, как беспутыя ковры!
Как болота бесчисленны! как мало скал!
как блюет монголия — мелюзга
на моей крови!

Дождь, как женщина, влажен, и млечен, и слаб,
без луны...
Буквы ладана и белены, —
о машинописи раб,

плачь слезой, бейся лбом! И тритоном трубя
возглашай святость уз!
Распасованы тройка, семерка и туз
для тебя.

МОЙ ДОМ

Дом хореографии. Телепаты Муз
пьют на подоконниках (с тремовыми очами) .
С утра за машинкой. Не моюсь. Не молюсь.
Отче, и ты — отчаянье.

В волосах влага, нос — пеликан,
ухо — лист капусты... За машинкой, в общем,
я опубликован весь. Но с потолка
капельки-клопики падают, Отче.

И бегут со всею искренностью ко мне.
Я их — башмаками, как танками рептилий!
Я-то что! меня давно уже нет как нет,
пожалей, Отче, этих красных ребятишек!

Им бы манускрипты в веках публиковать.
Целовать цариц, кусать драконов Этны...
А теперь приходится падать с потолка
на меня, трудящегося новой эры.

Башмаками!.. Жалко!.. Но все — на одного!
Целоваться, что ли?.. Славянина правнук,
хам или с похмелья, вот оттого —
-то я за машинкой борюсь за правду!

ДЕВА-РЫБА

Идешь, как рыба на хвосте. Пол красный.
Нам комната, но в коммунальных скалах.
Шкаф шоколадный. Секретер в монетах.
Оконце — электрическая нефть.
Я брат твой, рыба, Звери моря — оба.
Ты вся на васильковом одеяле.
Объяття животов и бельма бреда
любовного!.. Погаснет лампа нам.

Отчаянье ли? Ревность ли по лимфе
Александрийской конницей?.. Пастбища
оставим те... Нам — комната, мы — рыбы,
нас двое. Нам захлебываться тут.
На завтра — труд копыт и крыл Пегаса,
полиция цитат и холод хлеба,
нам — чоканье коленных чашек-здравич,
шампанские кружочки чешуи!

О ревом рыбы! нам хвосты, как в схватке,
и мускулы в узлах и вопль и лепет,
нам пальцы — пять и пять на поясницах!
Целую... Отпечатки на сосцах
и пальцев, и ответных поцелуев,
и к жабрам присосавшиеся жабры
лица, и в отворотах междуножий
высасываем языками слизь

зловещую... Узнать — возненавидеть.
Любить — не знать. Мы памятливы — все знали:
найти нет, и нет ни капилляра,
который чьи-то чресла не ласкал,
все волосы всех тел нам не распутать,
бичи бесчестья или зло лобзанья,
а проще — грех не в грех и храм не в храм.

Гул от луны. Проспекты Петербурга.
Уплыть в каналы и легко лакать нам
чужую жизнь, тела чужие, рыба,
блевать под кем попало и на ком.
Так минет труд. Так минет мир. И род мой.
Последний сам, без звука вас, последних

**благословляю!.. В келье два девиза:
улыбка и змеиные уста.**

ПРОСТАЯ ПЕСЕНКА

Раем оросило, солнечно и утро...
Во дворе осина, а на ней Иуда.

А под ней иду я, рву рукою колос.
Холодно и дует. И повсюду космос.

Я в посудах яды, как и все, лакаю,
как и все, от яви — сам себе лекарство.

Душу дай в отчизне — душу замордую.
Дай звезду от жизни — в жизни замурую.

Так-то замирая совами болота,
мыслим: за морями солнце и свобода!

Правда опростила!.. А проснемся утром:
во дворе осина, а на ней Иуда.

ЖИЗНЬ МОЯ

Вот идет моя жизнь, как эстонка, —
озерцо хитрохвостая килька
век овец муравей или вермут
шепот-папоротник в янтаре
эхо солнышка серп в перелесках
капли воздуха крыл воробьиных
вермишелька-березка в болотце
хутор-стеклышко в январе.

Вот идет моя жизнь, моя полька, —
в ореолах волос соловьиных
вол солома осел и Мария
слякоть слов и мазурка-метель
стать-скакун сабля конфедератка
что по ландышам красных копытом
клювы славы орел Краковия
кафедральный крест и мятеж.

Вот идет моя жизнь, как еврейка, —
скрипка-Руфь эра Экклезиаста
урна-мера для звезд золотожелтых
за электроколючками культ
йодом Иова храмом хирурга
дециперстная месть Моисея
цифра Зверя за правду праотчью
нас на золото на арфы на кнут!

Так: три девы, три черева, три рода, —
триединство мое троекровье
что же мне многоженство монголов
глупость флагов глумленье Голгоф
кто я им сам не знающий кто я
их не их не герой этих гео
дан глагол и я лгу но глаголю
проклиная и их и глагол.

ТРИПТИХ

1. На лестнице

Над Петербургом турецкое небо.
Над улицей Зодчего Росси — полумесяц и звезда.

Лая на лестнице нет. Естественно. Не сад Одиссея.
И не дворец девственниц (охи их охранять!)

Здесь балерины жили. Теперь не живут. Контрапункты
пуантов:
на цыпочках — я... цыц!.. по этажам.

Было! — о варвар! о Ева! — апостол аплодисментов!
Варвар, увы, вне „ура“. Ева — не явь. Концертам — конец.

Звякнул ключом (как волчица!). Включил выключатель.
Дома. Сам — свой. Чары чернил, рыло — на лиру, болван!

Том — „для потомства“ (матом метафор!)
о соловей современности, трус и Тристан!

Что ж ты, ничтожество? — люди как люди,
солнце как солнце, кровь — это кровь,

лира есть лира, играй как играется пальчик,
хлеб твой так прост, соль так светла.

(Люди картофельной крови санкционируют солнце,
эмансипированное поднебесье — для всех,

игры лиризма — мультипликаций экраны,
хлеб соль да плюс балахон, — ты согласен? — О да.)

Что отречение? Но рифмы — не речи. Что ж от речей
отречься?
Отчаянье? — чаяний не было, отчаиваться — от чего?

На электрической лестнице, на семьдесят третьей ступеньке,
хоть на одно хотенье: хоть на одно бормотанье: хоть на одну
сигарету, — оставьте меня...

2. Красный фонарь

Двадцать второго марта двадцатого века.
Улица Зодчего Росси. Воздушная кубатура двора.

Птички-ти^Пички. Песик-вопросик (правдив Пудельяни!)
задние лапки, присел, — о оскверняет сквер!

Слева в окошках — либидо-балеринки. (Танец туник
Тициана!)
Справа в окошках — по семь сосисок в кастрюлях, как в
люстрах по семь свеч.

Небо — как Ньютон — своим пресловутым биномом
все вечерет. Все веществеет. „Вечность вещает” ли — нам?

Немость не мне. Но я нем, я смотрю: окошко в окошко...
Ясен язык мой. Но он одинок. Я говорю:

В корпусе цвета желе, моему параллельном,
точно таком же мартовском, как и моем,

денно горит, ночью горит! — в окошке
кляксой проклятья (клянусь!) — красный фонарь!

Кто ты, фонарь? То ли фотограф ты (фотопленку
тайную опускает в фиксаж) (в фиксаж — тело мое!)

То ли ты резидент за занавеской
законспирированный? (Циклоп-телеглаз!)

Или ты электророза — опознавательный знак экстра-эстета?
Или сигнал: в окно не выходить, пятый этаж... („Стоп, не
оступись!”)

Кто ты — звезда Вифлеема? нимб Нибелунга? фрукт фараона?
Лампа лучей инфракрасных? (Я не Алладин!)

Череп мой, панцирь мой черепаший (маска мозга!),
слезы истерик (орда одиночеств), труд (онанизма аз!) —

все профильтруете — спрутиков спермы, коварство крови —
фильм лимфатический! — одрессируете сердце в дублях
души!

Львиные ливни, волчья вечера⁹, сомнамбулизм солнца,
денно и ночью, и было и есмь, и во веки веков, —

знай неизвестный: не в небе звездой возмездья, —
обыкновенность, окошко, — кара твоя — красный фонарь!

3. Смерть соседа

Важен ли вымысел? Правда — не правило Слова,
Нет вас, ни вымысел, правды, естественно, нет.

На улице Зодчего Росси дождь — моросило. Фильм
рифмовали:
красногвардейские шлемы, с ребрышками статистики... залп!

Вот и в квартире, в храме линолеум-шоколада
умер сосед по фамилии Поздненько. Федор Ильич.

Кто он? Стрелял из револьвера клопов. Был телевизор.
Преподавал математику школы. Не лыс.

Что он? Ценил цветы в целлофане (боялся — замерзнут),
изумлялся, что дешево (что искусственные — не знал).

Кто он? Знал гравитацию: если бы люди ростом пять метров,
что бы для них — курицыно яйцо?

Не извинялся, стеснялся. Если бы мы мертвеца спросили:
— Ты умер?
Он бы смутился: — Да нет, так, — немножечко похолодел.

Лгал ли он? Был бедолага? „Маленький“? „Труженик“?
„Смертный“?
Умер. Н. Гоголь шинель не отбирал.

Красный фонарь (как я боялся!) — он разгадал. Однажды
окошко
он осмотрел. И сказал: ты смотришь со стула. Ты встань.

Встал я: в корпусе цвета желе параллельном, по вертикали
на всех этажах (всех — пять!) горело — пять фонарей!

В доме есть лестницы. У лестниц есть лифты.
У лифтов — красный сигнал, что лифт неисправен, — он
объяснил.

Я не смеялся. Я был благодарен: он опроверг мои муки.
Спасибо за правду. Поздненько, Федор Ильич.

В БОЛЬНИЦЕ

1

Что читает вслух ворона
для дерев?
Лошади пасутся на веревке
во дворе

без одежд, как девы-жрицы клада
(в ноздрю — серьгу!)
о губами, лунными от хлада
клевер стригут.

Диски звезд — классическая форма
(как ты, с кем?)
Фонарь стоит в фарфоровом
котелке.

В одеялах я — мораль-улитка:
диагноз дан.
Медсестра, как мумия, мурлыкает.
Спит. Диван.

Что тебе, мое в медузах тело:
тут ли ты, не тут?
Темя — ты лишь пульс души, лишь тема
температур.

Пересмешник, церковка паскудства,
и не так я, время, умирал...
Лошади — пожалуйста! — пасутся!
Я боюсь. Два глаза у меня.

ХУТОР ПОТЕРЯННЫЙ
(1976)

ВОРОН

Вот он:
ВОРОН!

Он сидит на кресте
(ворон — тот, крест — не тот) .
Это радио-крест,
изоляторо-столб.
(С кем пустился в прятки
ворон — демон ПРАВДЫ?)

Вот он:
ВОРОН!

Посмотрел ворон вверх
(ворон — тот, воздух — нет) .
Усмежается месть?
Любопытствует лоб?
(С кем скиталась дума,
ворон — демон ДУХА?)

Вот он:
ВОРОН!

Ни суда, ни стыда
(ворон — тот, время — тут!)
Если есть я себе,
дай мне смерти в судьбе
(С кем мне клясться в космос,
ворон-демон-ГОЛОС?)

МОЙ МОНГОЛ

1

Счастье проснуться, комната в лунных звонках.

Санкт-Петербург просыпается.

Над Ленинградом водоросли небес, там самолет

(ластокрыл!)

Голубь как птица на оцинкованной крыше с клювом на

лапках,

гипнотизирует.

Все одеваются в лампах.

Жестом жонглера отбрось одеяло.

Как хорошо:

Ева твоя в целомудренных травках волос.

Хочешь, целуй ей лицо проспиртованными устами,

хочешь — вышвырни вон и свисти, соловей одинокий.

Сеть занавески чуть светится и сигарета сверкает.

Утро и труд.

Хуже проснуться, комната в капельках солнца.

Как по утрам, осмотреться окрест — кто там справа?

И обнаружить, что справа лежит Чингиз-хан.

Без восклицательных знаков!

Просто — проснулся, что-то мурлыкает сам по себе,
шестнадцать косиц

то ли завязывает в узелок, то ли распускает,
желтый живот (неудивительно, желтая раса),

ниже — фигура, которая украшает мужчин
(отчаиваться не надо, ведь у тебя тоже — фигура)

— Знаешь, кто я? — воскликнул он.

Знал я.

— Я знаю, — хотел я сказать, но зевнул.

— А, ты молчишь, и уста в судорогах от страха!

Не от страха, — зевал.

— Думаешь, чудеса?

Я думал о Еве.

Вчера выступал.

Были люстры Концертного зала.

Множество лиц — фруктовых в малиновых креслах, ушки

для слушанья.

Аплодисменты.

(Рифмы я произносил о любви и о боли.)

Вот и записка из зала:

„НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧЕГО ПЛОХОГО. ЖДУ ВАС У ЗЕРКАЛА.
ЕВА.”

Этот чудесник, — фигура болтается, как поплавок.

— На, завернись, — я бросил халат. Только не хочочи, —
предупредил я.

— Я с предрассудками и не люблю, когда по утрам всякая
сволочь хохочет.

— Хочешь кумыса?

— Пусть пива...

Но на полу уже появились кувшины кумыса.

Пена прелестной расцветки, как мыльные пузыри.

— Выпьем с утра! — воскликнул он на одеяле, в халате.

Что оставалось? Я опустил в кресло, с кувшином, в трусах.

— Ну, как жизнь? — спросил я с ненавистью, — как здоровье?

— Гол, как монгол, — он распахнулся. — Как в энциклопедии
желт.

И у тебя, — он оживился, — морда не без желтизны.

Глазки припухли.

— Утром желтеет с похмелья русская раса. Пухнет чуть-чуть.

— Если ваше похмелье будет длиться века,
вы пожелтеете сплошь. Знай, что рожденный с
кувшином кумыса
не пьет по утрам из обкусанной кружки пиво.

Ужас!

Узрел я у зеркала двадцать дев.

Девы двуноги, кудри у них — как фонтаны!

Все с записными книжками (ах, автограф!) . Все
красномясы. В одежде.

Было, все было:

проснешься в испарине,
шаришь, дрожащий, шнурки-башмаки,

ужас — в ушах,
молнией — к лифту,

весь исцарапан,
весь лихорадка,

будто сражался всю ночь со скалой!

(Знаем, все знаем,

но даже в душе

я не сторонник сексуальных революций).

Ева стояла одна... с яблоком. Обнажена.
Но не об этом. Пред взором моим стояло и по три и...
тоже обнажены.

Перевидал я достаточно этих... ню.

Если же начистоту:

все сейчас ходят так в СССР.

Но — с яблоком...

Ева!

Волосы — розы, склянки-коленки, радость ресниц,
твой треугольник страсти — занятный, весь в травинках.

И — с яблоком!

Грешным своим языком я сказал:

— Сей плод — девиз грехопаденья. Вы девственница?

В кои-то века^и тебя ожидают у зеркала,

жарко жалея,

или коленку подсовывают, чтобы трогал,

вот и хватаешь, влюбленный, эту Еву с косицей (грудь —
виноградна!)

а поутру получается:

справа лежит Чингиз-хан.

Бок о бок, тоже с косицами, но... в том-то и дело.

Что тебе здесь, мой монгол?

Мне нужно меньше, чем человеку. Где Ева?

Он:

— Вдумайся, дурень:

уснул ты, или проснулся,

не все ли тебе одинаково, —

с Евой ли, сам ли с собой, с Чингиз-ханом?

Даже последнее, я бы сказал, перспективной

(в историческом смысле),

вот просыпаются два,

нету претензий:

вопросы-ответы...

Уже обсуждая абсурды тринадцатого века

да царства двадцатого, — театры террора, —

я, телепатически, что ли, а, может, взаправду — желтел.

Я, за решеткой вскормленный (темница, клоповник!)

Ох и орел в неволе, юный, как Ной!

В иго играли вы, вурдалак, теперь я — ваше иго.

С миской кумыса смотрим в окно (окаянство!)

А за окном — заокеанье, зов!

Улей наш утренний, не умоляй — „улетим!“

Или — давай! Но куда? Тюрьмы фруктового яда.
Пчелам с орлами не быть в небесах (жало — и клюв!?)
Не улыбаться нам на балах,

 не для нас глобус любви,
если душа — пропасть предательств,
 лицо — ненависти клеймо.

Да! Ну давай! С этих утренних улиц,
толп лилипутов, тритонов труда,
пусть им — невроз ноября, месса мая,
Бедный товарищ! — кровавую пищу клюем.

Правда же, — пропадем!

Воздух взнуздаем и, как говорится, — день занимался!..
В каплях притворствовал Петербург...
Замахаем крылами волос! —

Вот венец, Ванька Каин! Я — автор комических книг,
вор, поэт, полицейский, — в общем, отрок Отчизны.
О великий, могучий, правдивый, свободный... заик!..
Отучили.

Музичирует время. Я — Маленький с буквы большой.
Что мои зайцезвуки — на цезарь-скрижали!
Фраза: „Гости съезжались на дачу”. Киваю башкой:
— Ну, съезжались...

Простаков, Хлестаков, Смердяков да Обломов т.п. —
татарва да пся крев, жидовня да чухонцы...
Слава Вам, кино-Конь! Пульт Петра, сталь-столица — теперь!
Что ж ты хочешь?

Ремонтируя душу, как овчарню храня от волчат,
Суздаль — от Чингиз-хана, Плесков — от венчанья,
как от веча — Новград, как от чуда — Москву... Отвечай!
Отвечаю:

— Это самопародия. Ах, извините, люблю
эволюцию литер „О” — „ЧА”. Как бикфордов-свеча нагораю...
Пальца в клавиши, как окурки — вдавлю,
не играю.

ХУТОР ПОТЕРЯННЫЙ

Тут хутор потерян... Как униям гунн,
как нимфа для финна, как мед молдавана...
дом драм — обещанья, триумфа и губ, —
дом-дым обнищанья... каморка... охрана...
Так в призмах Заката язык мой — зола,
ответы овец, соль-свинина, крольчатник...
Чей призрак здесь жил, волосами звеня?
Чьей цепью Царьграда? — лишь ключник с ключами...
Тогда еще!.. Был нам незнаем Монгол.
(Кончак — чепуха, подсчитали и хана) .
Но — блуд, окаянство, обман, алкоголь, —
до звезд Византийства!.. Но не было Хама.
Все было, — клянусь. Мы безусцы — юнцы
трудновоспитуемые (или — руссы!)
не в меру мерзавцы, пусть не мудрецы,
(о темен сей терем!) но только — не трусы.
Ну, ночь-поножовщина Новград-моста,
но равенство-радость! но молота удаль!
Ну Марфа Посадница — но не Москва!
Ну, грех Годунова — но не Иуда.
Кто жил здесь в железе? Маэстро? Адъюнкт?
Не Лютер ли? (Ландыши яблонь!) и — тот ли?
Дом — день одиночеств, как аист в аду,
мутант в шлемофоне Баркляя де Толли.
Чей жил из желез? Чей тевтон изменял
Ледовым побоищем? Глас — троекратно!..
Чей колокол — клюква?.. Чей аз — из меня?
Так узнику Эльбы — три крапа, три карты.
Читатель стихов! Если дух твой так худ
(невеста, невроз, геморрой, нищета ли)
читай троеточье: потерян мой хут...
Дом — день одиночеств (что ночь — не считаю!)
Лжедмитрий фонтанов! „Лже” — значит — лгать,
не лгал бы — была бы твоя Московия.
Но свадьбы — не судьбы... И, помнится, тать
тогда еще, в молодости моросила.
Так век пятерчат — не треперст. Перестань!
Тут минула молодость. И не могли мы...
Оплакан опилками... О просто так —
венчанье второе у Мнишек Марины!
Писатель стихов! Я — писатель? О тень

азов алфавита, — ах арфа в партере!
Не я, не писал, не пишу, — дребедень!
Читай одноточье: мой хутор — потеря...
О как оболванен, о пять-обнесен,
как зек на закате картофельной хунты.
Наш кладезь — на ключик! А саун — овсом!
Ах, глупость! кому он без нас, этот хутор?
Нас, деторожденных без тыла-отца,
(растлители в рясах, целители ложью!)
Вот ходит, как дохлая вобла — овца...
Истерика детства: где Белая Лошадь?
Вот бабочка в бане... Да будь ты! Очнись!
(О жить — целовать тебя всеми губами!)
На лыжном трамплине — паук-альпинист...
Булавка была бы — найдется гербарий!..
Чей праздник здесь жил, волосами звеня?
Чьи флейты мистерий? Чьи магий мантильи?..
Меня не любили — болели меня...
(Чье сердце столиц?) ... и, естественно — мстили.
Дай зеркало, друг! Дай стекляшку (где сталь?)
О мим-монголоид! С сумою семантик!
Я плачу?... Смеюсь... Я достаточно стар,
чтоб с крысами в креслах читая смеяться.
Что глуп ли глагол, искренность или грим,
писатель — не я, я — лишь я и простите...
Вам все объяснит феминойчицы рифм
и прозы писатели: прозевертивы.
„Кайфуют” мой хутор они, близнецы...
Сюда бы дракона. Но за неименъем
жевали шашлык три-четыре овцы,
закатные пчелы летали, как змеи.
.....
Опять „о поэзии”... Не соловьи.
Не путаники. Неспроста получилось.
**ДУХ СВЯТЫЙ ЗДЕСЬ ЖИЛ. Я ПИШУ ДЛЯ СЕМИ,
А КТО ЭТИ СЕМЬ — я потом перечислю.**

* * *

уж сколько раз твердили миру,
трудили лиру, —

как яблоко Ева
не позволит соврать,

как неожиданность ножки
у слоники, —

ПОЭЗИЯ

ТРАДИЦИОННОЕ

Я буду жить, как нотный знак в веках.
Вне каст, вне башен и не в словах.

Как кровь луны, творящая капель.
Не трель, не Лель, не хмель, не цель,.. не Кремль.

Мечтой медведя, вылетом коня,
еж-иглами ли, ястребом без „ять”...
Ни Святополком (бешенством!) меня,
ни А. М. Курбским (беженцем!) — не взять!

Люблю зверей и не люблю людей.
Не соплеменник им я, не собрат,
не сотрапезник, — пью за звезды змей,
или за Нидерландский вал собак!

На дубе древа ворон на беду
вам волхвовал крылом шестым, что — ложь,
что — раб, что — рвань, что — рано на бегу
в лесу, где в елях Емельяна дрожь.

Вран времени, лягушка от луны,
я буду жить, как волчья власть вины.

Как лис, Малютой травленный стократ,
Малюту же: ату его, ату!
На львиных лапах зверь-аристократ
в кунсткамере покуда, не в аду.

И если я, не „если” — я умру,
я ваших вервий — петли не урву.

Я варев с вами — не варил (о рвот!)
Не рвал серпом трахеи (для таблиц!)
Не я клеймил ваш безглагольный скот.
Не воровал я ваших варвариц.

Рожденный вами, вашим овощам
от счастья... — глобус бы не погубить!
Вы — сами! Я себя не обещал,
не клялся классам, что и мне — не быть.

Не нужно тризн. Не тратьте и труда.
Я буду жить, как серафим-беда.

Как Коловрат (лишь он Монголу — „нет!“)
Как Див-война — еще на триста лет.

Как свист совы над родиной могил.
Как воды Волги (кто и ее убил?) ...

ПОСЛАНИЕ

Как играется в Риме? Я был там. О бабах — обман.
Нет печеных улиток. Нет Горького. Нет делегаций.
Помню, пили у Павла. Иоанн 23, Ватикан.
(Ватикан — их Исакий. Там религия. Будь деликатен.)

В Риме много хорошего. Не попадись на трюк
(попадаются только туристы) : киносекс с мертвецами.
Кьянти пьют со спагетти. Чиполлино не ешь — это лук.
Ботичелли — художник. Муссоллини — мерзавец.

Иностранцам — не верь. Шведам — в первую очередь. Бар
выбирай хорошенько. Там ходит одна... Швед-королева...
со бзиком!
Будешь пить с ней, спроси ее в лоб: — Где *борьба*?
(Паспорт не проверяй. Узнаешь по бескозырке.)

Знай: ты — Воин Великой Державы. К тебе — интерес.
Так что будь осмотрителен. Трать лишь известные ссуды.
Заявляй в интервью без запинки о том, где прогресс...
Знаешь сам... Философствуй со скидкой, — ведь все они —
зюйды!

Путешествуй пешком. Мил Милан. А Венеция — это венец!
Опасайся Ломбардии. Избегай по возможности оргий.
Во Флоренции — Флора. На Капри — святыни сердец:
посети, не расскаешься: там жил Горький.

ЛЕГКАЯ ПЕСЕНКА НА МОСТУ

Как зверь в звездах — уже заря.
Ресницы роз у фонаря.

Вот девушка. С душой. Одна, —
все движется. О не обман.

Вот юноша. Не педераст, —
и он с душой. И не предаст.

Но лучше бы: вот водоем,
чтоб эти двое бы — вдвоем!

Я б отгадал глоток их мук.
Был бы сочувствен мой мяук.

А так — ни с кем и ни о ком
грущу с глазами: где мой Холм?

ВСЕ КАК ВСЕГДА
(Лубок с Монголом)

Монгол стоял на холме и как ветряная мельница бежал на
месте.

Глаза у него с грустинкой но не худ
а даже влажен животик потому что он был — ниоткуда.
Бежать-то бежал а в левой деснице держал драгоценность —
курицыно яйцо.

В ноздрях еще дрожало из высоковольтной проволоки —
кольцо.

Я подошел и подышал в его не без желтизны лицо.
Я — что! У меня — мечта а вот вам пожалуйста тип — скулы
скалисты

(Не будем же бужировать в геноскоп семена — не
семинаристы).

В правой деснице держал он букварь с буквой „Б”.

Значит все в норме сей человек — в борьбе.

В первом глазу у Монгола — виденье вина.

Ну и что! Ведь во втором глазу — голубизна.

— Как тут тебе на холме? — вот как я спросил задыхаясь
от века.

— Как ветряная мельница я бегу на месте, — вот как он
ответил. И я не знаю лучше ответа.

Вот как исторически в силу общественных обстоятельств
сложилось.

Я-ты-он-мы-вы-они-, -по-товарищески сдружилось.

Результат на лицо:

не без желтизны но никто никому не пленник естественное
единство ни мяса ни мести...

Вот как хорошо когда на холме как ветряная мельница
каждый бежит на своем месте.

ТРИ РОЗЫ В БОКАЛЕ У БОГА

Триптих — Отчизна, Мать и Жена — не дано.
Лицо на цепи, копыто Китая, центавр, — где курс кораблю?
Сердце — „десятка”, сутана и цель (ну давай, я — давно!)
Три розы в бокале у Бога, — я говорю!

Роза — герб соловья — я расстрелял ребус страниц.
Роза — белозна свадьб — я растлил, Гамаюн.
Третья не требуется: монастырь у мокриц...
Три розы в бокале у Бога, — я говорю!

Зачем из мультиметалла меня Ты, „меч аз”?
Почему — часовой у меня^{ча} — я губами (не тронь!) — творю?
Так выпьем за выстрел, за сорок в бокале глаз!..
Три розы в бокале у Бога, — я говорю!

Три раза в Байкале... Но если Иерусалим...
Ландыш Невест — Но бульварщина букварю.
БОГ МЕНЯ НЕ ЛЮБИЛ И НЕ ВЗЯЛ МОЛОДЫМ.
Три розы в бокале у Бога, — я говорю!

У ОЗЕРА У ПРУДА (плач в пяти пейзажах)

1

Озеро Голубое, вода — гобелен, и нет волн и в ливни.

Лыжницы-плавнички, мишень-художница, — карп.

Волосы в воду, — воздушна, хлад в зеркальцах.

Пьявки и я, лилия — роза Зверя.

Купальня в цветах-гербах, в мифах овейна ива.

В озере — Дева (пропасть была, или моя) жила.

Озеро в линзах, — лишь волосы выплывали

о опускались (о пусть!) паутинка по паутинке

в ад без акустики, как „ау” без аука...

2

Рыбка-саженец расцвела.

(Лягушата в искорках лир!)

Я кормил ее с рук — она росла

(кто не рос, если кормил?)

Я стрекозами птиц ее одевал,

я бинокли не дал паукам,

я ее веслами не одолевал.

Письмоносцами не пугал.

Осквернен я, — но не было больше двух.

Лжив язык мой, — не клялся, лишь кровь зализал.

И она пожалела мой грешный дух,

не замерзла и огонь не взяла.

Разыграло время ее звезду:

семью семь лун в сентябре!

Очень в озере и худо в пруду...

Стало ей — не по себе...

(Так все хочет в жизни быть, хоть чуток:
имя дай реке — но не имярек,
вот, как тигр, грустит — без пчелы цветов,
человеку — человек...)

Так любила она одиннадцать лет,
а потом три года я был один.
Возвратился... и никого нет...
Сто осин!

3

Чей возглас вод, чей чайный всхлип?
в пруду живут созвездья рыб.

(Коварство крови раскрывать священной розой — и не стать?
Я-смертник сердца — рисовать вам, свиноблюды и вам,
инстант?)

Пиавка плавает, как Брут.
Сокровищница яда — пруд.

Мой позвоночник — только тыл, я жив ли нет ли — пробуй
пульс.
Ты перепонки уст закрыл (прости, ушей!) — писатель пуль?

Целитель — пруд!.. Вот воздух вод
отдохновенья ливни льет.

(Морей касаясь колесом, Конь Блед мой, с гривой корабли!..
Как кровососов-хромосом с любовью к яблоку кормить
в прудах преданья? — Чепуха! Разврат распятья! Нет и нот!..
От чердака до червяка и чай чудес и весь исход...)

Рак-труженик гласит, как труп:
— Для труженика смерть — триумф!

Петляет ласточка на „ля“:
— Опасность — пуля и петля!

Лишь у улитки оптимизм:
— О пустяки! Опасность — жизнь!

(Луна! — единственное „да“ моих любовниц, кто не „для“,
венецианская звезда Земли... а мы, мой друг — земля...)

И пруд не в пруд, а выплюнь кляп:
наш нищий лай — четырехлап.

4

Заболоченность-пруд... Меченосец-лук...
Камень в канаве — братство! — лежит, пьян.
Созвездье Рыб улетает в семью, на Юг.
Мельница на холме, очи овец по полям.

Черная лошадь пасется с цепью, под веки спрятала маяки.
Я возвратился, я вздрогнул: плохо, Луна!
И поползли травы по телу, как пауки.
— Я — Дева-Рыба! — (голос!) — сказала она.

Я любила тебя одиннадцать лет, а Ты три не смог.
Ты — создатель — тварь жива, я — творенье в твоей судьбе.
Ну любил бы меня хоть молнией, Деву, Ты — бездетный
мой Бог.
Ну убил бы меня в голову, Рыбу, Ты — Себе!

(Смысл баллады — Любовь. И ритм — не зря.
Плеть моя, плоть моля — как уйти, как убывать?
Неужели не знала, что мне — нельзя
ни любить, ни убивать.

5

Дым от моей сигареты обволакивает Луну... Ну?
Что я? Жалею ли я, что я живу... — не наяву?

АРИФМЕТИКА ОВЕЦ

Я смотрю с холма на холм:
холм хорош:
пусть — пятиступенчат!
Я пишу пейзаж:
о закат — заокеанье,
чуть не холодно, и холм,
пять ступеней, пять овец...

Ну и что?

Как пасутся пять овец,
на телах у них мех,
пятерчатый, как „оx!“
там где хвост — пять хвостов,
там где темя — пять ушей
(дважды пять!)
Дальше... Даже в душе
у овец — пять сердец...
Пятью пять копыт!

Ну и что?

ТАК-ТО НА ЗАКАТЕ ДНЯ
СМОТРЯТ ОВЦЫ НА МЕНЯ:

— Что ж ты смотришь...
арифметик?..

КУСТ СМОРОДИНЫ (Варианты)

Куст красавец под окном.
А под ним
лягушка — как лошадь
с клювом, с крыльями
(украдет!) ...
Куст смородины. На нем
сетка „для” и „от” лягу...
(не клюй! куст — клетка!)

Куст по форме — как фонарь
рыбаря,
в сетке — стайки,
семью семьи:
златозелень-листик-рыбка,
искра-ягодка-икринка....
Труд, товарищ!
Ура улову!

Куст смороды под окном.
О тиран туризма!
Куст — палатка,
там все в плавках,
млеко-фляжки-свой сосуд
даже девушки сосут,
в ласточках — листва волос.
Почему-то поцелуй —
двуязычен!..
Это сатира:
„под сеткой секса”.

Куст смородинных кружев,
или кружев.
Каждый листик пятипал,
как ступня моя босая
беса.
(Сколько их, стоп-ступней
не шагнут?)
Что смородинка-то глаз
(только-сколько
не откроется от крови?)

Кто — откроет?
Звук Заката!

(Фантастическая сеть —
хоть в сети, но хоть в саду:
спать — не стать!)

Вот и вывод:

КУСТ КАК КУСТ ПОД ОКНОМ
А ПОД НИМ —
НИКТО НЕ ЛИШНИЙ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ (Каталог без людей)

Стол в кружевцах-эстафетках (не тот, не сталь).
Машинка моя под хромированным колпаком (дурацким).
Слушаю (слышал) здесь — птица, простите:
пернатая Хлоя с хвостом. (Она — людоед).
Птица Хлоя пищала на ветке вишневой (прошлой ночью) :
„хи-хи-хи”.
Дверца окна на крючке болтается (сам за стеклом).
Что ж. Слушаю сквозь:

мчал мотоцикл по асфальту как игрушечная моторная лодка
по гео-озерам
кружилась береза как пудель зеленый на задних лапах
чучело в майке сетчатке кольчуге в духе матроса — ОН
пугало в платье монисто без ног кажется макси в духе
цыганки — ОНА
как они шлялись в смородинные кусты поцеловать друг у
друга

О ПУГАТЕЛИ ПТИЦ!

молодой дождик цвета медузы лежал в земле (воздух!
воздух!)
подсолнух с гривной стоял в красной клубнике как в крас-
ных песках — ЛЕВ
овощ (по звуку — картофель) строгал сам себя а нож
блестящ и нов
в карты шут-шулер картежничал сам с собой — КОТ
картофель молодой закусывал кильки сосал как леденцы —
КОНЬ
копал как поле участок с нежным навозом — АИСТ
бежал по аллее из елей уши ужасны уже босоногий — ПЕС
мухи с морковью торжествовали как жертвы — МУХИ-МАХИ
ПРАВДУ ИГРАЛО ПО РАДИО ТАТАРОМОНГОЛЬСКОЕ ИГО
МУЗЫКУ ТЕЛ НА ФИГУРНЫХ КАТАНЬЯХ ТВОРИЛ
ТЕЛЕВИЗОР
(Птица Хлоя летала же в прошлую ночь друг за другом,
как два белых платочка!)

Я расстелил на Закате колючую проволоку в двенадцать
рядов (на то и сад)

Колючую проволоку надо сушить. На Закате.
Паук — домашний скотинка — полз по плечу, панибратски
похлопывая ладошкой.
Лампочка кухни надела совсем человеческий чепчик.
Сквозь голубцовые листья-листву уже здорововала —
ЛУНА.

Ветер взвивается. В небе читаются тучи.
Что с грозой? Как-то она — без людей? Ведь не то.
В прошлую ночь ведь была же птица Хлоя,
летела на Запад, цокая языком: — Распни их! Распни их!
А вот — в эту?

По хутору бегают маленькие гуднайтики. А жаль...
КТО-ТО ВОСКРЕС В ВОСКРЕСЕНЬЕ?
ЗАВТРА — ВЗАПРАВДУ ЛИ ПОНЕДЕЛЬНИК?

У ВОРОТ
(Лубок)

Нежно-радужно и дождь — как индус в чалме и джин
(из кувшина!)

Осветительный овес!

Вот ворота — жуть желез
и звоночек (где звонарь?)

У ворот живет [✱]засмин — медведица Баренца,
белоцветица-бокалы
(их мильон-мильон!)
в лампах,
в лапах.

У ворот еще и ель
ветви — в щеточках зубных
(прилетает на хвою
птица Хлоя в „ноль” часов
чистит зубы — все целы!
Хлоя — людоед).
Щеточки — в крови.

У ворот
(вот-вот!)
о овца, как офицер
(пьяница, одеколон!)
с мордой
смотрит:

во дворе лежит бревно, — как попало, голышом...

ЧЬЕ ОНО ЛЮБОВНИЦО?

ПЕСНЬ ЛУННАЯ

Зажглись фонари на холмах... Я вышел на воздух, а воздух — вишнев!

Семнадцатое августа, ноль часов, семь минут, семь секунд... Жду гостей. С неба. А их нет. (Хутор со шпилем, оконце и лампа — ориентир).

Луна человечьим лучом (маскировка, мираж!) расставила металлические мечи по холмам.

Фосфоресцируют волосы в воздухе. Чаша весов в левой деснице (время! время!). Не расплескать бы тост!

Нет одиночества: я и Луна. Я меньше сейчас, чем один. А на Луне (знаем Землю!) их — нет.

О облака, два дракона метафор (я сам — семикрыл!)

Деревья таятся когтями, — но не орлы; цветы завернулись в чалмы, — ни цветок не пророк; кузнечики в травах трепещут (цепь-звон, но они — не часы). И лишь две собаки: одна там где Запад, другая там где Восток, одна восклицает: „Ах-ах-ах!“, другая: „Ай-ай-ай!“

Значит, Луна боится меня.

Не бойся. Я не божество, не беглец без лица... Ночью (не нищенка!) Мнишек Мариной, княжной Таракановой, Анной Второй, императрицей в темнице (не самозванка!) — боится меня!

Зажглись фонари... Я ошибся: зажегся фонарь на холме, — моем. Вот он (не я!) в треуголке и с тростью и с пьяным электролицом, как Петр Первый, — о эпилептик эпох!

Слышу звон звезд — это армий моих океан, это Большая Медведица встала, как вождь на живье жабье, безжалостный серп размахнула во все небеса! На гильотину (гибель!) варварам — варварский серп!... Гости — не гости, сейчас — не сейчас — серп занесен!

Как мне с глаголами? Как мне с глазами? Как мне — со мной?.. Бьется еще на пульсе братский браслет! Жду, как Джордано. Простится и пульс и дрожь: ночью вничью все боится и бьется (не днем!)... Не бойся! Ты — это Ты (без междометий), я-то — значок язычка!.. Ежик! Я жив ли? Жужжим ли? Не съешь светлячка!

... Камни лежат на тропинках, как яйца живые в своей скорлупе!

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Здесь красавица прежде жила
а теперь не живет.
— А. Гитович

Я хочу написать об Анне Ахматовой.

Для романа за рюмкой — Блок, Модильяни.

Повесть пафоса — муж стихотворец, жуан и шуан, неотъезд из
Отчизны, неарест, остракизм, брызги бронзы, Никольский
собор.

На рассказ — не рискну. Мемуары — но мало ли мемориала?
Сплетниц-плакальщиц у свинцовой голубки, экслибрис
креста?

Притворялась пророчицей. Лицедействовала царицей.
В скольких скалах жила! Никого не любила, —
мастер мести себе, цепь на сердце — за грех аграфии,
гениальный гранильщик од одиночеств, где — хлад и
хрусталь...

В Комарово свирепствуют трупы и триппер.
В Доме Творчества — торичеллиевы коридоры.
Младожены писателей (о дочери Этны!)
с энтузиазмом — из номера в номер, с кровати в кровать.
Стикс-старухи с черепашьими лицами. Чтицы
вслух читают им ЧИТКУ (язычки, как у болонок!)
Мастодонты-маститы цитируют на машинках
рай рабочего класса. Им телеодевы куют... костыли.
Все оплачено оптом: шамканье инстанционных машинок,
дочки-девочки, аз-язычки для завитков-волосков.
Пьют бокалы с беконом — сиеста пред съезда.
Маршируют по морю, — о аромат Реомюра!
Тише, ты! Здесь инстанты живут... Артиллерия-арт!

Хватит, хам... Ты пиши об Анне Ахматовой.

Я — пишу: В Комарово, не у моря два домика. Было.
Два зеленых, как елочки... Жил Гитович, Александр Ильич.
С ней семья: Сильва-колли.
Поясняю: Гитович — поэт, Сильва — жена, колли — пес.
Сильва — гости, голубоглаза,
дом — не мед, дневник про Акуму, телефона тепло.
Колли — пес для медалей и для свитеров.
Для хозяина на закате, когда он листал на крыльце,

Как он тратил бокалы, хмелея, хемингуэя,
фавн Китая, кентавр с башкой сплошь волосатой, чернильной,
жизнелюб существительных,
милитарист междометий,
опуская тяжеловесные веки
он сказуемые — сказал: устами китайца Ду Фу!
Хоть устами Ли Бо отлюбить, обуздать свою совесть-обузу,
сам отшельник — был воплем отшеленика Цюя
сам в сомненьях — был даром рыдания Цзюйи.
Тяжкий дар двойника — переводом с пера на перо!
Где Гитович! Мы правда же — пировали!
Бой бокалов и Пушкин, Художник в кольчуге (теперь его
адрес: — Рим)
Где град Китеж!.. Где враны Венеры, где иглы и месяц, —
я под поезд бросался, на рельсах, как крестик лежал...
Электрический ляг... мгла шампанского света... колеса...
секунды...
Где, как лунный, Гитович, срывающий с рельсов...
(„МУДАК”) ...
Спал ли я в эту ночь, — „герой без поэмы”, — в помарках от
шпал?
Спал, спасенный. Как сипай. Как спирт.
Вот... — отбеты. „К Ахматовой” ходит автобус туризма.
У Гитовича — камень. И камень — скамья. Там я пью,
окропляя. Один.
Там, где было два домика-елочки, там и теперь две дачки.
В одной не живет донна Анна. В другой — друга нет.

НЕ О СЕБЕ

Памяти Н. Грицюка

1

„Моржам” нужна ледовитая вода.

2

В Академгородке лето менее веселое, чем зима —
нет „моржей”.

На берегах бубенчики,

дождь блистал, и страстные струи обливала от-
личные окна (в каждом — кактусы, как с похмелья
небритые личики лиллипутиков — зеленоваты),

колли-псы,

конки-такси,

яблочки-мордочки у яхтсменов, ножки — нежны,

даже джазы,

Филонов, Грицюк, Кулаков,

О Обское море! — минисвященный Байкал!

Пилят яйца, коктейли, шалил на костре шашлык. Пляж-
песочек Сибири!

Девушки — совсем как в трусиках

(О Обское море — для объятий!)

Альпинист-академик Ректор объяснял поварам: бифштекс
а ла татар.

Профессор-генетик Раиса Львовна Берг жаждала живописи,
и в свободное от дрозофиллы время рисовала
абстрактно.

Синхрофазотрон (по-моему так). Атомный реактор (если
не ошибаюсь).

В Академгородке 1264 кандидата наук, 152 доктора, 14
членкоров, 11 академиков, 28 парторгов и 2 милиционера.
Академгородок — мозг и пульс СССР.

3

Худо в июле „моржам”.

Ходят с зонтами, как алкоголики вне наркоза, как
алгебраисты.

(Так, говорят, что в Алжире все козы ходят с рогами, как
собаки).

„Моржи” лежали в ваннах, им привозили специальный лед, —
тяжко, жирели.

Их головы привязывали
к американским арматурам, чтобы не захлебнуться во сне.

4

В гостинице по радио диктор бессовестно распространялся
о любви между мужчиной и женщиной.

5

В Актовом зале состоялся Общественный суд.

Судьи — 28 партаргов.

Подсудимая — аспирантка Ц.

Объяснили обосновали:

аспирантка Ц. в лице аспирантки Ц.

у нее однокомнатная квартира

абажур Окуджава

телефон телодвиженья

замок занавеска

поцелуи но и без роз — разврат.

Не секрет, все в курсе:

Постеснялись, но пояснили. Кто с кем спал:

он спал с падлой

она спала с папой

он спал с паклей

она спала с палкой

он спал с панной (в ванной)

она спала с парой (гнедых)

а Пахмутова спал с Паблой

Н-Е-Р-У-Д-О-Й

Заявление: заклеить.

Ведь у всех успехи, ... есть единичный случай.

Сексуальная революция — это само собой,
но аспирантка Ц. вне секса, ибо она — блядь.

1264 кандидата наук, 152 доктора, 14 членкоров,

11 академиков, 28 партаргов и 2 милиционера

выступили на авансцене

без утайки, с хватающей за душу искренностью, что:

у всех румяные дети с вьющимися волосами,

пионеры и комсомольцы шестидесятых годов

алкают английский
поют партитуры
эстампы этюды
бассейны бейсбол
и вообще в Академгородке по сравнению с тринадцатым
годом
были волки а стали виллы
и вообще с генетическо-атавистической точки зренья
были самки-самцы
а теперь самисемьи...

И что же?

В лице аспирантки Ц.

вместо социологии, эволюции научно-технической

интеллигенции

в ее однокомнатной квартире

нет и в помине духовного роста,

а в ее ванной открыли

Пляц Пигаль.

Вместо всемирно-исторической победы науки

все на грани гонорреи.

Академгородок — мозг и пульс СССР — превращается в

хиппи и марихуаны.

Академгородок — не место для аспирантки Ц.

6

Так четыре часа все свидетельствовали связи.

Стиснув коленки, дрожало ее лицо

бесцветное

аспирантка Ц. — слушала,

на коленках ее не дрожала

вишневая сумочка с пряжкой.

— А вы? Что вы объявите в оправданье? — на орбиту взмыли

28 парторгов.

— Обвиненья, увы, объективны. Выселение вас — аксиома.

Аспирантка Ц. и не сказала ни слова, вставая;

подошла, расстегнула вишневую сумочку с пряжкой,

извлекла страничку,

повернулась,

ушла.

Президиум оцепенел.

Потерял цвет лица.

Страничку не огласили.

7

Это страничка —
медицинское свидетельство,
полученное аспиранткой Ц.
за три минуты
до открытия Общественного Суда.
Аспирантка Ц. была девственница.

8

Делегация югославских артистов.
Рулевой ее: роль Олеко Дундич (фантик-фильм!)
Вот — Володя Моровский, Секретарь Всех Истанций Страны
Сибирь.

Биография:

непорочное зачатъе
Вифлеемская звезда
дары волхвов
Ирод избиенье младенцев, —
в общем то что повсеместно случается с любимым
новорожденным
в Сибири и только в Сибири.
Сейчас его биография переживала этап проповеди нагорной
(Вова пил).

Май мифологии!

На самом деле:

В. И. Моровский,
тридцать лет
взаправдашний внук
прототипа романа Шишкова „Угрюм-река”
Прохора Громова
лысоглав и голубоглаз
титанид атлет

Ах и яхта!

У всех — увеселенье!

О банкет бакалейный на безоблачном Обском море
О Обское море, мичуринская новостройка, манекенщица для
иностранной прессы
Югославских артистов на ясновельможной яхте

банкетировали:

Секретари Всех Истанций Сибири
миссионеры Москвы
композиторы и живописцы Истанций

ах как демоны формул
космического кошмара
академики форума
нечеловечьих лагун современности
и луноходов.

Были и мальчики в штатских мундирах.

Моровскому нравился Дундич, но не нравилось его интервью.
Дундич сказал корреспондентам советских газет
все, что требуется сказать югославу про СССР,
но... ничего про Сибирь. (Иностранец, артист, недоумок!)
Володя сделал небезосновательный вывод: серб — посягает.
(А ведь выпивали)

Моровский позвал прогуляться по палубе.

Доверчивый серб вышел с этим тунгусом.

И, гений Сибири, объяснив артисту оплошность, послал его
на хуй.

Дундич услышал. Сказал: в Югославии так не посылают.

Гостей.

— Где уж вам! — с гордостью за свою страну воскликнул
Моровский.

Дундич сказал: он и в Сибири впервые слышит, чтобы так
посылали.

Моровский законно заметил: — Не лги.

Уличенный во лжи, Дундич сказал:

он известный артист Сербии,
а не номенклатурный хам Сибири.

Это-то и нужно было Секретарю Всех Инстанций Сибири.

С потрясающим души всех народов и рас, с самым лучшим
кличем эпохи:

„Сибирь! Русь! СССР!“ — Секретарь бросился на артиста,
схватил его за жабо (зарубежное, жабье)
и выбросил за борт.

Труппа стала стыдиться.

Но Моровский молчал, — изваянье караррских каменоломен.

Киноартисты весьма возмутились:

ничем не оправданное насилие
это станет известно самому Тито
это не эпизод этикета —
инцидент мирового масштаба.

Моровский грустил, как геркулесов столп.

Тогда озверевшие сербы закричали на все голоса

про Югославию — родину благородства
и что-то нелестное вообще про русских людей.

Это была тактическая ошибка.

Тут же Моровский без объяснений, без клича, выбросил за
борт охапками, —
всех!

И все это мероприятие заняло 10-12 секунд.

Наши нашлись:

Секретарь Всех Инстанций Сибири по Пропаганде,
ахнувший по лбу свинцовой трубой нашего друга,
схвачен был за уши, выброшен за борт
(и не успев развязать, бедняга, галстук для самбо).

Консолидация! —

Все пассажиры:

Секретари Всех Инстанции Сибири
миссионеры Москвы
композиторы и живописцы Инстанций
академики формул
миловидные мальчики в штатских мундирах
комсомольцы-команда, —

околожили товарища, патриота, прекрасного в своей простоте.
Два часа разъяренная яхта ходунами ходила,
посылая в пространство истерические сигналы:

СОС СОС СОС — в мировой, в изумлении замерший океан.
В исторической схватке, в священной войне на волнах
раздавались девизы:

„СССР СИБИРЬ ХРУЩОВ
сербы киноискусство тито”.

Наконец, комсомольцы-команда набросили на Моровского
якорную цепь

и приковали цепью к палубе.

(Впоследствии В. И. Моровский стал Всеобщим Секретарем).

9

Дождь.

Новосибирск в красных плащах.

Завтра на звездолете „ТУ-104”

приновосибирятся (остановись, остолоп!)

Гости Столиц.

Храмы Дворцы Космодромы Науки Искусства Вселенной
(лечись, ты, лачуга!)

Массовый мозг миллионов, сердца в унисон с сердцами, —
о как пульсируют!

слушай!

(ухо у хари твоей есть? — отвечай, одиночка!)

Провозглашаем: картофель — питательный фрукт!

Завтра мы выйдем, как на вешалках кости в костюмах:
морды по моде — лица любви (ухо — для эха эпох!)
Завтра!

10

Сегодня:

Нищая ночь.

Как черепашки на задних лапках мыслители-пьяницы на
тротуарах в березках.

Баб на тротуарах нет.

Здесь их нет, — здесь студентки, старухи со степенями, с
дипломами жены.

1264 кандидата наук, 152 доктора, 14 членкоров,
11 академиков и 28 парторгов
отдыхают в отелях — для завтра,
а два милиционера

на мотоциклах, как заводные игрушки, кружатся по
Академгородку,
притормаживая круженье под козырьками
„современных комплексов архитектуры”.

Я иду, идиот, не смешно и не грустно.

Звезды, как звезды, как будто в очках.

Кое-где светится визитная карточка окошка, —
может быть, для визита, но не для меня.

Может быть, кто-то тронет рукав... Ну и что — кто-то тронул.

Тот, из черепашек (Фонарь). Стоит, весь в крови.

— Вы простите, я пьян.

Я: — Простите, я — тоже.

Покачался фонарь.

Покачались и мы.

Я: — Вы, простите, в крови.

Он: — Вы не тратьесь, товарищ.

Церемонно раскланялись.

— Я — препарат.

— Я — эпик-поэт.

— Я час назад препарировал труп одного человека.

— Я час назад декламировал перед тысячью человек.

(Как фонарь ослеплял!) На лице его не было крови.

Да и лица-то не было (фонарь ослеплял!)

— Вот, — сказал он, — возьмите.

Я взял.

— Это печень.

— Я не ем.

— Человечья. На память о трупе.

Припомните: Шелли — Байрон — труп — костер.

— Но там — сердце.

— Ах сердце! Свисти, сантимент!

Реквизит романтизма двадцатого века — лишь рюмка.

Печень — проще. Припомните : Прометей.

— Трупомистик, — сказал я, — мои неологизмы
вам нежны... Вы — вампир.

— Это — друг, — сообщил он.

— Человек человеку...

— Друг! — сказал он. — Ваш, — я вижу!

Он был нем во язьцах, но вам неминуем.

Вы — вампиры себя: хохотать на холстах!

Вам картоны, как ноты писать по искусству:

тело — темпера, акт — акварель, пульс — гуашь!

В мастерских медитировать, ставить любви баллы хлеба!

Манускриптами вы волнуетесь, — нам!

Друг сей печени! Вы не безумец, — глупец!

сам сейсмограф себя, — где ж слеза? чай сочувствий?

жест — горюет глава, клич — „он умер, увы!”

Вы — ироники-труссы.

— Продолжайте, — так я сказал.

— Был художник с лицом сырого стекла

был он баловень утром но умница

был на лестнице с псом

с поводком для прогулок

поводком привязал

снял ремень

припоясал пса к животу

вниз не нужно глазами —

броситься вниз

(там кистями этаж ремонтировали маляры)

семью лестниц он падал

на первой упал...

Ваш, я — вижу! Как ракурс рассказа?

(Мой металл процитировал мотоцикл.

Фонарь — электроянтарь!)

— Ой с женой.

— Жена — жива.

— Сын и дочь?

— Санкционируют слайды и каталог.

— Пес?

— Спаситель-живот! Не ушибся.

(Не тошнило. Пошел я.
Стой, стакан, пой, фонарь,
с полуночной печенкой, —

(на стеллаже ее, коллекционер!)

11

Нужен был эпилוג.

Если бы я был причастен,
я написал бы не знаю, какой, но — эпилוג.
Но мое я в данном случае тут не при чем.
Я пишу не о себе.

В ЗАЛЕ ЖИВОПИСИ

Элизиум-зал был в забралах и в людях,
в бациллах любви, в мефистофелях флегмы,
в окнах и в холстах, в зарешеченных люках...
Две флейты играло, две флейты.

У Бога у губ, киноварь и мастика,
малиновый мед, и ресницы смеются,
в отверстиях олово, Змий и музыка:
две флейты играло, как два Семиуста.

Растение рая, перчатка из лайки,
зеница монгольская, ^{челка}маека да грива, —
девица с двойными глазами (и златы!) ...
Две флейты играло — два дива!

Ценитель-цербер, бубенец каравана,
о милый послушник налим-посетитель...
И только моя голова горевала,
что нечего чтить, некому посвятиться.

ТЕРЦИНЫ
(Памяти Лили Брик)

Уйдет к себе и все забудет.
Н.А.

Ушла к себе и все забыла.
Москва не родила капель.
Молва пилюль не золотила.

Ложились люди в колыбель,
включая лампу, как ромашку...
Оплакал я, — не храм, не Кремль.

Позволю первую ремарку
о пуговицах за слова —
как вор коварную рубашку

снимаю перышки, Сова,
знаток Зеркал, я отвечаю:
ушла к себе, ушла сама.

Не одарила воды к чаю,
не одалиска, — по любви.
О чем поэты? — одичали,

не отличая поля битв
от женщины музЫк и жеста,
поэтому-то полегли,

к жерлу прижав пружины-жерла...
Не собеседник на суде,
не жалобщица и не жертва,

без пантомимы о судьбе,
без эпистол, без мемуара
она — одна! — ушла к себе.

Царица мира, — не Тамара,
о не Сиона!.. Сущий сон:
в сих пузырях кровей кошмара

какая Грузия! Сион!
Грузин Ваш — грезил. Оболванен
лафетом меди, — мститель он!

Освистывает обыватель.
Знак зависти — павлиний глаз.
Второй ремаркой объявляю:

еврейства ересь... им далась!
(Ах я ль не лях, — Аллаху — лакмус!) ...
Нимб времени и лир — для Вас.

Так лягут лгать, включая лампу.
Монгольский молот под кровать —
в электролягушачью лапку! —

Свой Таргар поутру ковать,
звать звездами вверху стекляшки
и что не я — грехом карать.

Уснуть устам. Сойти со стражи
к себе, самой, — как сходят с рук.
Библейской болью: стой и стражди! —

(как стар костер!) — созвать на звук.
Но... мумии вины левита
у скал искусств... мурашки мук.

Но звук за век (ах от любви-то!)
зовет за око — Вий в окне!
Но в мире мер в сосуде литра

отнекиваться на волне...
(Ах щит Роланда, счет Гарольда!)
Вы — объясните обо мне.

Последнем Всаднике глагола.
Я зван в язык, но не в народ.
Я собственной не встал на горло.

Не обращал: обрящет род!
Не звал к звездам... Я объясняю:
умрет язык — народ умрет.

Где соль славян? О опресняя
в мороз моря... Раб — не для бурь.
(Агония обоснованья!)

Но нем в номенклатуре букв
и невидаль ли в наводнение
автопортрет мой — Петербург?

Ремарка третья: над Вандеей
гитары гарпий, флейты фей.
У нас семь пятниц на неделе:

то белены, то юбилей.
Москва! Как много... в говорильне
в бинтах кровавых — фонарей!

Не^оум у мумий, — гамадрилы,
мессии мяса, — племена!
На нас мундиры голубые,

мы в силах все — переина...
На берегах Отчизны — Стикса
припомните им про меня!

Страницы в море жгла синица
секретов сердца, — тот театр!
Имея меч — теряться с тирсом?

У винных вод — и ты, Тантал?
Двусмысленны все постаменты
на территории татар.

Нам жизнь не в жизнь, но все — посмертны...
Лишь жалоба календарю:
что я последний Вам в последний

уж ничего не говорю!

* * *

Не бил барабан пред лукавым полком,
не мы Вашу плоть хоронили.
Чужие по духу в семейный альбом,
в келейный архив — опустили.

Чужие по духу во все времена
закапали Вас, закопали.
Мы клятвой не сняли свои стремяна,
все в тех же шеломах скакали.

Нам тризна — с трезубцем! Бесслезны сердца
торжественного караула.
О спите в кристаллах, святая сестра,
в венце легендарного гула!

ПОСМЕРТНОЕ

Я умру: не желаю ни розой, ни муравьем, ни львом.

Роза: цель — поцелуй, то есть мечь медицины, малосольная лимфа любовниц-мурлык — на олимпийских мускулах уст Дискобола! Или роза-мимоза в склянках столичниц Бодлера (ах, „страшные вина”) — и ад алкоголя, мой мир, где зуб на зуб и зрак без зениц! Или зев азиатц, их роз-языков, фрезерующих фаллос в лапах Лапифа, — и „роза упала на лапу Азора”!.. Эх вы Эрос!..

Муравей: гражданин-миллиметр, труженик-миллиграм, имя им — миллион, муравейник твой — колокол коллектива, треугол Архимеда, вулкан во века!.. Лишь Луны — лишены... Я — лунатик.

Лев: как с кляпом, как в клетке, непризнанность — гений в литаврах, Самсон-самозванец, звероморду аристократа перелизывать плебс-языком, — мертвечина-морозиво мяса, дружок!.. Но — неранен! Кровь жив-жертвы как бьется в висках, как вкусна! Рев о Родине^взла и клыка!.. (О в каких кандалах у народа мой брат-людоед!)

Не желаю — Созвездьем!.. Кто вы, Близнецы-Диоскуры, — на зависть Земли, вы, статисты чертежниц-Небес (череп — тоже „на бис”?) ... Я — ничей не близнец.

Не желаю — в живое!

Я умру... Не желаю ни в мрамор, ни ^вкаплю, ни в воздух векам^в!

Мрамор: нео-Дедал сконструирует театр для толп, культ-культуру для хваленых художников хамства — галдеж галерей (трон-тюрьма!), лицемер, облицует и Тартар (дешевка для душ!)

Капля: даждь нам дождь для пресноводных двуножеств, родителям рода для будущих бешенств и траты труда... Или каплю-слезу — Искупителю наших нищенств, мирозвестнику Мира, чтоб в истерике истин Его мы молились „во имя”... Войны!.. Капля-кровь...

Воздух: вот я весь — воздух, везде я, в телах тепло-
кровных, в птичьем пространстве, в океан-плавниках!.. Не
желаю себя — клоунад-космонавты, корабль-юбилеям, —
бездарностью бездн! Не желаю, чтоб даже дышали ни кон-
структор костей, ни инструктор-инстант!.. Ты, анафема арфы
Эола...

Человеком вторично („Восход“! „Возрожденье“!) — не
желаю!.. Кому-то там вторить в торговлю, безбилетник
Творца — любить тех, кого не любил при моей Безымянной,
лгать гуннам и лигам („о не вы, это я — пролетарий!“) Пусть
умрет ^и м (мой/и мир), только — не во чловецах, я — ничей не
ловец!

Маски метаморфоз — возьмите и возрождайтесь!.. Жил
он так, как желал, умер так, как умел...

ЗАКЛИНАНЬЕ

Ты еще пройдешь через сто страстей, через сто смертей.
Ты узнаешь, узник, что укус цепей — лишь поцелуй.
Ты заплатишь за плеть сорока сороков себя.
Ты ответишь, что ты не бык боя и — о не овн!

О с одиночеством очная ставка, — „о”!
Ходят хладные люди фигур, но их хлад — „про”!
Каплица-икринка упала из уст и поползла — „из”! —
что эмбрион-восьминожка родит: океан, или дитя „для”
людей?

Ты еще не ^жмен на ум. Не удержишь надежд.
Ты еще за тыщу запрячешь сердце щитов, — но вотще.
Не изменят тебя ни ладан на дланях ни Змий измен:
из чего-то, *про* кто-то, *о* кем-то, *для* чем!

Не прощайся, друг-дрозофила. Еще не гудел ген.
Это — солнечность, это — столичность. Ты будешь — быть!
Это — ночь Нарцисса и Эха. И день — дан!..
Ты еще несчастья не счел, ты еще досчитайся — до дня!

«37»
(1973)

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 1973 ГОДА

В кровавых лампах оплывших окон — фигуры девок!
тела на лапах в лохмотьях елок, — о жизни древо!

в очках все очи, сосцы — под лифчик, пупки под пряжки,
под животами пониже — листик, а дальше ляжки,

зады мы любим, они — как солнца! — а возле возле
младые люди, и все в кальсонах, и все в волосьях

и очень сзади и очень спереди хвостаты:
чуть-чуть де Сады, страдальцы спермы, чуть-чуть кастраты,

им — катапульты, электро-списки, дела! девизы!
графин капусты, конфетку спирта, каркас девицы,

есть гастрономо-и-астрономио-бутылки,
есть труд и Тартар, а остальное — блюдет будильник.

В оплывших окнах — дыханье Духа! — муляж к муляжу:
и око в око и ухо в ухо и ляжка в ляжку!

Так неужели всегда так будет: бессонниц купол,
теней ущелье — театр Кабуки, кривлянье кукол?

А там — как пели! В стаканах стенки цвели кристаллы.
Крутил Коперник по небу стрелки, шумел костями.

А там — в сортирах не брезжил, таял звонок в брезенте.
Луна светилась, как золотая башка бессмертья!

Так неужели ты так и тонешь в огне огромном
душа моя, — слепой детеныш, бред эмбриона?

ПЕСНЬ МОЯ

Ой в феврале
тризна транспорта, фары аллея.

В Летнем саду
снег у статуй чуть-чуть заливал^з срамоту.

Дебри добра:
в шоколадных усах у школ детвора.

Толпы Цирцей
сочетаются кольцами в бракодворце.

Девушки форм
любят в будках под буквами „телефон”.

Как эхолот
шевелиющий усами эпох полицейский-илот.

Солнце-Дамокл.
Альпинистские стекла домов.

Мерзкий мороз
моросит над гробницей метро.

Тумбы аллея
в краснобелых тельняшках — опять юбилей.

Бей сердце бей
в барабан безвоздушный скорбей.

Плачь сердце плачь,
всех смятений сумятицу переиначь.

Пой сердце пой!
Ты на троне тюрьмы. Бог — с тобой.

Ой в феврале
вопли воронов, колокола кораблей.

Худо дела:
чью там душу клюют, по ком — колокола?

„МОЙ МИЛЫЙ!”

1

Было! — в тридцать седьмой год от рожденья меня
я шел по пескам к Восходу. Мертво-живые моря
волны свои волновали. Солнце глазами льва
выло! Но сей лев был без клыков и лап.

Двадцать восьмого апреля с Книгой Чисел в Восход
в одежде белой с пряжками, в свиных башмаках
я шел. И шумели волосы, хватали меня по ушам.

Хладно было. Я матерился, но шел.

Я шел, как и с каждым Восходом иду и иду
бормочущий буквы, язвящий грешный язык,
не слышимый в Небе ни Богом, а на земле, —
земля и без букв — будет! благо, что есть букварь.

Благо, что есть таратайка труда и клан-клять,
суки в чулках, котлеты в общем котле,
в клюшки играем, от пива песни поем, буквоман!
Тсс... нету — споров! Я — всех — вас — люблю!

Итак:

Море месило влагу. Брызги — были, клянусь!

Песок состоял из песчинок. Парус — не белел.

Вставали народы и расы. Вставая — шли.

Счастья искали. Трогательная тема.

Лишь гадкий птенец, логарифмический сын их с небес набросал
вчера в полнолуние на этот уже эпохальный берег
лампочек, апельсинов, палочек от эскимо,
лифчиков, презервативов, всякого пола волос.

А там, где граница моря и взморья, там, где вода
с берегом сливается, на полотняном песке
вот — восемь букв:

МОЙ МИЛЫЙ!

буквы, канальчики: в М — немножко воды,

О заплыло совсем, Й — брезжило лишь...

МОЙ — плохо просматривалось, но киноэкранно гравюры
были пять: МИЛЫЙ.

Как непростительно просто, как на берегу богов
на бюрократическом берегу — МОЙ МИЛЫЙ!

И ничего. Желтые буквы беды

существуют со всем вышеописанных счастьем.

А над апрелем чайки читали Восход,

или весну вопрошали: „Когда же проклюнется рыба?”

Всюду светились нежнозеленые личики листьев.
Дети засматривались на пляж, не купаясь, в кепочках кожи.
Да мотоциклы мигали, красные, как вурдалаки.
Жрали все больше и больше электрожратву
вы, электропоезд, обслуживающий курорты.
Но рановато. Пока пляж был безлюден (то есть — без тел)
девственен! Ждал своего жениха! Мифотворца!

2

Песню весенней любви теперь запевайте, вы майские Музы!
Было! — у самого моря стоял Дом
Творчества. В доме был бар. Но об этом позднее.
В Доме том жили творцы и только творили.
Творчеством то есть они занимались, — и это понятно.
Всякая тварь испытала на собственной шкуре, что значит
творить.

То есть — таланты там были. И точка.
В Доме директор — был. Прорицатель Биант.
Физиономия в коже из паутины с носом Иуды из Кариота.
Знал он, что есть и ныне и присно и будет во веки веков.
А потому что: там, в кабинете Бианта, забронированном
автоматической дверью,
всюду вращались, как водовороты, магнитофоны
соцреализма:

охи, сморканья, волненья ответственных одеял,
расшифрователи стука машинок, — по буквам, —
пишущих, анализаторы кала, пота и спермы,
плеск поцелуев, беседы о Боге, шипенье бокалов,
хохот, хотьба (о чем ты задумался все же, детина?)
И по утрам, когда утихают ласки
и разговор приобретает (хм!)
резко политическую окраску,
из-за занавески выходят бледные парни Бианта
и говорят, отворачиваясь: — Хватит, ребята.
Ласки ласками, но и тюрьма, как-никак, — государственное
учреждение. —
Буря ревела, дождь ли шумел, молнии мнительные во мраке
блистали, —
но поразительно прост и правдив был Биант:
на расстоянье вживлял в мозги полусна элегантные электроды
(что там приснится? — Сияющие Вершины,
или — вниманье! — лицо нимфы Никиппы, к примеру!)

В лифте летал Аполлон. Лилипут. В голубом.
 Ласточкой галстук. С красной кифарой.
 Чуть красnobров. За голубыми глазами глазастые очи.
 Ехал на лифте, как эхо — людям служить. Словом и славой.
 Мужество — было. Гражданское. Два подбородка.
 Запад огульно не отрицал. Нового — страстный сторонник.
 В номере ныл и лизал Никиппе чулки.
 Официанток отчитывал голосом грома.
 Сед, как судак. Влюблен. Но нелюбим.
 В жизни своей не замучил ни женщины. Был драматургом.
 Да, а Никиппа? Невеста она — Аполлона.
 В общем, она тут ни при чем, так, отдавалась.
 В доме был бар. (Пора, брат, пора!) В доме был лифт.
 Вот что о баре. В баре сидел настоящий сатир. Современник.
 Может быть, с рожками, только в кудрях затерялись.
 Кудри его! Не описываю. Не фантаст.
 Девы дышали, как лошади, кудри его пожирая очами.
 Очи его! Очи ангелов, или гусаров, они — цвета злата!
 Ноги его! На копытах! Ну, что тут прибавить?
 Руки его!.. Впрочем, ручки с похмелья гуляли.
 Есть небольшая деталь... так, не деталь, а штришок:
 голый ходил. Даже не в чем мать родила, куда бы ни шло, а —
 голее.

Правда, кудрями своими неописуемыми чуть-чуть
 вуалировал обе ключицы,
 но что, извините, женщине плечи мужчины,
 если он — гол! Как питон! Как пивка!
 В баре он — пил. Из бутылки! Бальзам! Все... смотрели.
 Выпив свою сардоническую бутылку,
 и, обеда аборигенов золотыми от злобы глазами, вставал
 и — вылетал, как скальпель, в дверь под названием „Выход”.
 И...
 в море купался. Как все!
 — Марсий, — о нем говорили. Фамилия: Марсий.
 Кстати, Никиппа. В ней-то и дело. Любила она отдаваться.
 Нравилось ей. У нее были белые ноги,
 ну, и она время от времени раздвигала.
 Вот Аполлон. Это — жених.
 Н^а, а жених — это тот, кто ждет своей очереди к невесте.
 Марсий, к примеру.
 Этот — гений флиртов и флейт.
 Марсий — любил, а она хорошо мифологию знала.

Был и в Москве какой-то Гигант. Но этот был — *настоящий*
поэт:
в „Юности” публиковался. Пел под окном, как Лопе де Вега.
И колебалась в стали стекла шляпа его с шаловливым
павлином
и кружевное жабо с мужскими усами.
Пел темпераментным тенором светлый романс Ренессанса о
страсти,
с болью в душе и с отчаяньем отмечая:
вот они двое в объятиях лежат — сатир и русалка,
вот она с кем-то совсем посторонним (увы!) до утра на
ковре кувыркалась,
вот появилась в стекле ее лебединая шея с башкою Египта,
время от времени с грустью поэту ~~у~~ окошко мигая.
(Улица Горького аккомпанировала звонками Заката!)
Нимфа Никиппа была из семьи не семитов. Папа — писатель.
Нет, не на службе. Не алкоголичка. Не блядовала.
И вообще ни хуя не хотела. С чувством читала
Марка Аврелия. Сказано выше — она отдавалась.
Искусству была не чужда и философии наша Никиппа!
Песню весенней любви продолжайте вы, майские Музы!
Как начиналось? А так: не хватило дивана.
Было — вошел Аполлон в почти новобрачную спальню,
и — чудеса! — был диван. Был на месте, и — нету.
— Боги Олимпа! — взмолился тогда Аполлон, — где же диван?
И боги сказали: — Иди и увидишь. — Пошел и увидел:
двое лежали на дивном диване в позе, весьма
соответствующей моменту.
— Что вы здесь делаете? — воскликнул вопрос Аполлон
дрогнувшим голосом.
Марсий ответил просто и кратко: — Ебемся.
— Не верю.
— Как знаешь, — отвечивал Марсий.
— Разнервничался, — Никиппа сказала.
— Ну, хватит, хватай свой диван и дуй. Лифт направо.
Невесту свою не оставь. — Аполлон
взвалил свой диван крестоносный, потопал. Невеста
как лебедь египетская за ним, — неземная.
Поставив диван, лиллипут набросился на невесту, весь
сотрясаясь.
Она отдалась.

Так началось:

как полагается — ревность, а с нею — все, что связано с нею:
 рвенье к любимой, просьбы к Всевышнему, робкие в сердце
 попытки
 в общем, беспочвенных, но неслыханных наслаждений и
 мести.

Ибо отправлен в изгнание был Аполлон нимфой Никиппой
 в номер соседний. Там он и спал:
 в очках, в сединах, весь в голубом, одинок.

Кто из людей не вздохнет, слушая, как за стеной отдается
 его невеста?

Что ж Аполлон в таком случае — бог?

тоже вздыхал, не лучше, не хуже, чем все остальные.

И... как отдается?

По всей анатомии этого милого всякому смертному дела.

Но... будем скромны, как и прежде.

Способов много: ^{Очи блуждаем, влюблю тоже} Все эти способы свято подсчитывать жениху
 за стеной —

← небезинтересно,

если в особенности объект за стеной — невеста твоя.

Есть и другая еще, плюсовая деталь проблемы:

Никиппа и Марсий в поте лица отдавались друг другу,

а Аполлон только слушал и только кончал, —

без труда и пота! не ударив палец о палец!

Утром сатир кифареду весьма дружелюбно кивал.

Итак:

ибо:

бог Аполлон был Большой Гражданин Государства,
 вся эта ебля приобретала уже государственное значенье.

Это тебе не семейный совет: выпил водки-селетки,

и — по зубам! А пока ремонтируют зубы, —

любovníк уже утомлен и уехал...

Нет! — как? почему? отчего? где? зачем? на каких основаниях?

нет ли здесь умысла идеологических, скажем, ошибок?

Разобрались. Есть и нет, но идеи — на месте.

И идеалы грядущего — в норме. К тому ж — не жена, а
 невеста.

Вызвали Аполлона. Спросили. Сказал.

Сказали: мы не позволим. Нужно хранить граждан — т.д.

Перевоспитывать сволочь.

Драматургия — это искусство для масс.

— Кифара в порядке? Ответил. Сказали:

— Нужно запеть!

— То есть? — спросил сквозь очки.

— Голосом. Гласом. Мирное соревнованье систем:

кто проиграет, с того сдирается шкура.

Вы на кифаре, этот на флейте.

Он — проиграет. Он-то один, а за вами — гражданская тема.

Песню весенней любви отпевайте вы, майские Музы!

Запели.

Вот Аполлон заиграл о ликующей всюду любви. Ликовали.

Марсий завыл на фиговой флейте какое-то хамство.

Еб твою мать, как матерился!

(Но материться в поэме нам не к лицу).

— Паспорт посмотрим, — сказали. Потом — Почему на
копытах?

Национальность? Сатир. Вот как. Все ясно.

Шкурку вы сами снимете, или позволите нам? Скальпель и
морфий!

Морфий не нужен? Смеетесь? Вам больно? Ах, нет? Тише.
Тем лучше?

Это — последняя шкурка? Не вырастет? Чушь. Сейчас все
вырастает.

Кудри скальпируем. Так. Животик-то — пленка.

Теперь повернитесь спиной. Спасибо. Копытца отвинтим.

Вы полюбуйте только теперь на себя:

новый совсем человек! Запевайте о новом! Шагайте шагами!..

Не зашагал. Осмотрелся. В баре сидел Аполлон и нимфу
кормил шок шоколадом.

Шел разговор о вояже на Запад: свадебные променады.

У лиллипута сверкали очки, окрашивая все в голубое.

Расхохотался — Марсий. Напился. Всюду совал свою мерзкую
морду.

Так и уехал без шкуры, но хохотал — как хотел!

В общем, сей тип, к сожаленью, так и остался в своем амплуа.

5

Бойтесь, Орлы Неба, зайцев, затерянных в травах.

Заяц пасется в степях, здравствует лапкой Восход.

Нюхает, зла не зная, клыкастую розу,

или кошунствует в ковылях, передразнивая стрекозу.

А на закате, здравствуя ночь-невидимку,

пьет сок белены и играет на флейте печаль.

Шляется после по улицам, пьяный,

в окна заглядывая (и плюясь!) к тушканчикам и хомьякам.
Лисы его не обманут — он лис обцелует,
С волком завоюет — волк ему друг и брат.
Видели даже однажды — и это правда,
заяц со львом ели похлебку из щавеля.
И, вопреки всем традициям эпоса, кобра
может, вчера, врачевала его ядом своим.
Все это правда, все мы — дети Земли.
Бойся, Орел, птица Неба, я вижу — ты прыгнул
с облака вниз, как пловец, руки раскинув.
Замерло сердце у нас, омертвели колени,
не убеждать — ужас желудок окольцевал,
не кричать, не здравствовать больше Восхода,
лишь закатились очи и пленка на них.
И — горе тебе! — мы по-детски легли на лопатки,
мы — птичка-зайчик, дрожащими лапками вверх.
Что это — заяц живой, или жаркое — зайчатина с луком, с
картошкой тушеной?

Бойся, Орел, улетай — это последние метры вашей судьбы.
Вот вы вцепились когтями в наше нежное тело.
клювом нацелился в темя (теперь-то — не улететь!)
дышишь нам в очи, как девка в минуту зачатья... минута...
где же орел? где он? ау — нету орла.
Только пернатое месиво мяса. Повсюду
разного веса разбросаны и валяются в травах куски.
Вон две ноги рядышком, как жених и невеста.
Все остальное — хвост, обнаженные ребра и крылья
залито соусом, соус — живая кровь. Пар от крови.
И, вытирая травами кровь со своего сведенного тельца,
ты осмотри свои задние ноги, заяц, зверек изумленный:
Это они, обморок твой защищая,
судорогами живота приведенные в действие,
в лютой истерике смерти взвивались и бились
и разорвали орла. А ты и не знал!
Да и не знаешь сейчас. Отдышался, оттаял
и побежал на тех же ногах к Закату,
здравствуя лапкой счастливый свой горизонт!

6

В год Рафаэля, Байрона, Моцарта, Пушкина, — кто там еще? —
я все шел, и дыханье свое выпускаю шарами
солнечными, а в тени — чуть-чуть нефтяными,

пересчитывая шаги, скрестив до боли ресницы,
остолбевал на тридцать седьмом, и, в который раз
бледный и скорбно стоял над пропастью сей незатейливой
фразы:

МОЙ МИЛЫЙ!

Кто написал через каждые тридцать шагов и семь —
МОЙ МИЛЫЙ?

Ран романтизма не перечислить. Длинное дело!
Рок Рафаэля! Байрона бред! Моцарта месса! Пушкина пунш!
Что предчувствия?

Может Мадонна тело тебе отдавала свое. Художник,
только за тем, чтобы ты умер на теле?

Может, Августа и не сестра, а — постриг
в святость карающей крови, — и что вам!?

Может быть, реквиемом без жен ты скончался, Моцарт,
скрипку любя, только ее краснотеплое тело.

Может быть, Натали не до балов, а пуля Дантеса
точка и только. А судороги супруги —
ненависть женщины тела к гению неба.

Может, народы и расы, границы, войны, системы —
только ненависть Тела к Небу — и нет им сосуществованья.

Может быть, нимфа Никиппа мне написала „МОЙ МИЛЫЙ!“
мстя за насмешки поспешные (смех — чтоб не слезы!)

Может быть, просто Наташа с телом Египта
так посмеялась от плача?

Знаю: не знаю. Я уйду в утренний ход моря.

Чайки — белое чудо. Море — восстанье весталок. А горизонт
кто-то оклеил газетами. За горизонтом —
небо мое!

Что ж. Застегнем все пряжки нашей белой одежды.

Очи откроем и будем идти, как идти
за — горизонт,

за — Долину Блужданий!

Будем молчать, как язык за зубами. А надписи эти,
эти песчинки чьих-то там поздних признаний,
эта отвага отчаянья — после потери, — да не осудим! —
слышал я, слышал — устами не теми.

* * *

Я оставил последнюю пулю себе.
Расстрелял, да не все. Да и то
эта пуля, закутанная в серебре —
мой металл, мой талант, мой — дите.

И чем дальше, тем может быть больше больней
это время на племя менять.
Ты не плачь над серебряной пулей моей
мой не друг, мой не брат, мой — не мать.

Это будет так просто. У самых ресниц
клюнет клювик, — ау, миражи!
И не будет вас мучить без всяких границ
мой ни страх, мой ни бред, мой — ни жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕС

Мой лес, в котором столько роз
и ветер вьется,
плывут кораблики стрекоз,
трепещут весла!

О соловьиный перелив,
совиный хохот!..
Лишь человечки в лес пришли, —
мой лес обобран.

Какой капли пестрота,
ковыль-травинки!
Мой лес — в поломанных крестах (перстах)
и ни тропинки.

Висели шишки на весу,
вы оборвали,
он сам отдался вам на суд —
вы обобрали.

Еще храбрится и хранит
мои мгновенья,
мои хрусталики хвои,
мой муравейник.

Вверху по пропасти плывут
кружочки-звезды.
И если позову „ау!“ —
не отзовется.

Лишь знает птица Гамаюн
мой печали.
— Уйти? — Иди, — я говорю.
— Простить? — Прощаю.

Опять слова слова слова
уже узнали,
все целовать да целовать
уста устали.

Над кутерьмою тьма легла,
да и легла ли?
Не говори — любовь лгала,
мы сами лгали.

Ты, Родина, тебе молясь,
с тобой скитаясь,
ты — хуже мачехи, моя,
ты — тать святая!

Совсем не много надо нам,
увы, как мало!
Такая ^{лун}печная луна
по всем каналам.

В лесу шумели комары,
о камарилья!
Не говори, не говори,
не говори мне!

Мой лес, в котором мед и яд,
ежи, улитки,
в котором карлики и я
уже убиты.

БЕССОННИЦА

Лестница, а по — крысы бегают,
в шляпах, в ботфортах, с рапирами — ура!
Бьется, бьется бабочка — бессонница
в ласках-волосах моих, а волосы болят.

Тело у меня — еще теплое,
все в слезах пота и живот чуть живой.
По животу с блестящими глазенками
крысы, маленькие, как муравьи.

Тьма. Во тьме — евангельской? египетской?
ты — с телом крысы, майским, меховым.
Лебедь-шея, — это евангелие,
бог-башка — это Египт.

Не люби. Но не целуйся с крысами.
Господи, бегут с клыками! кусать!
Где выключатель? Вот! Включается!
Ищу под одеялами — и нет там меня!

Нет нигде меня — на корточках по комнате
ползаю! лягу — сплю, сплю, сплю...
Раскрою глаза — влюбленно улыбается
в глаза мне крыса, морда, как медведь!

Спаси, не люби. Любить — навязывать.
Спасать — явиться лишь и глаза мои закрыть.
О если б кто-то — вы, что ли, — выстрелил,
но сзади, в затылок, чтоб не ждать, не знать!

ПАСТОРАЛЬ, ИЛИ ЭСТОНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

У трав — цветы и запах хлеба... А у врат
стоит дите, сморкаясь. Сеятель-отец
идет с похмелья сеять лук, поет. Дите
пустил струю, — онд как радуга! Стыл суп
внизу, и пах он лилией и псом. Извне
летел орлом один и лебедем второй — комар. Телят
в овине ели мухи до кости. Но вон
бежал без девки человек, но в кепке и жабо.
За сеятелем тем бежал чулок в очках без глаз
в одной туфле, и цокал их каблук-рондо.
И человек хватает револьвер, вот тот,
который рос, как яблоко в саду, — курок! —
о честен выстрел — падают очки,
чулок убит, каблук упал за куст. В лучах
идет к дитю тот, в кепке, он — спасен! Дите
опять струю, как саблю, меж колен зажал. Пята
отца стальна, он бьет босой пятою в дверь, — а что?!
Идет, выносит суп и ставит пред дитем. Дите
взял пальчик, вынул лилию и пса, потом съел суп, — и пусть!
Он лилию оставил на вечер, на после, к чаю. Но
пес укусил, и пальчик отобрал, и тоже съел, успел
уйти, ни слова не сказал, и в ус не дул. И тут
не стал дите лечиться медициной, — нет! — взбешен, взбежал
на крышу дуба, там-то был паук и плел камыш,
ковер-камыш взлетел и — улетел. Рывок! —
ведь и отец хотел взлететь, он восклицал: „Мой сын!”
Твой сын потерян для тебя, отец. Не порть
слезу! Зачем взрастил дите? зачем посеял лук, поя?
Ты суп сварил цветка и пса? Да, ты. Молчишь?!
Бежал без девки от чулка, в жабо? О да!
Стрелял твой верный револьвер? Стрелял. Молчишь!
Ты — виноват. Дите сморкался в нос себе,
пускал струю, — сия совсем невинна страсть.
Возврата нет. Молчи, о сеятель, и сей теперь добро.
А ты (я о себе!) пиши, дружок, пиши пером: „Шептал
камыш, цвел в море мак и ворон на макушке жил,
потом полез в гнездо — поесть яйцо дрозда.
И дрозд убил его. И сбросил в пыль (а ворон был здоров!)
Лежит теперь, раскинув руки, весь в пыли... Тяжел
у жизни нашей лет, товарищ труп!”

О СЕБЕ

Воду поджарим на сковородке, в нее окунем чеснок и кильки
хлебнем до дна.

Ночью носки в стирке протрем и будем, как боги, бежать в
носках на Закат,

мифы морализуя, эхо Эллады в Грецию запустив.

Кто вы, маэстро, с машинкой пишущей? Стрижен, как сталь,
в бане пивом отпарился и вышел, дыша, но и трясясь, как
тростник.

В комнате винных бутылей — блеск блевот.

Вот и воспоминанья: ехал сюда, на хутор — под поездом,
пресный лежал,

попал под платформу, пять ребер преломано. Женщина из
Москвы

шуткой шипит в письме, а ты „до востребования” вопишь.

Мысли милиции ты прорицал (паспорт потерян в драке
дурацкой) а дальше? Дышать

сил ваших вежливых нет. Мечты — а о чем? зачем?

Пишешь баллады о ближних, историю — в стол, мурлыка-
мертвец.

Девственны люди двенадцати лет, в будущем — женщины. Но
нельзя.

Женщины тут же ходят с телами для одеял,
но — вождельня где? Вождь элениума — с луной?

Утром проснуться и тотчас портрет пса
нарисовать, чернобелый, и желтый — глаз.

Пес усмехнется и все поймет, простит.

Но — нет прощенья тебе, сатир, от этих распаренных льдин,
людей.

Пальцы твои преломаны на правой руке, все пять.

Горе тебе, Гермес, ты пальцами у Аполлона кра^вкрал.

Гений гонений, в трусах голубых, нежных, ты пьян был, а
теперь

пенишься только на белом блюде труда, но кто ты — в бумаге
буквиц и где?

Ты не умрешь от ума. Ты — тень и нет

в прошлом тебе прощенья, а в будущем — свист.

Мать не вини. Отца не вини.

Сам все затеял — зачем сам себя родил?

ПСАЛОМ

Совести нет на скамьях, гду гул голосов, лжепророки с
графинами, — глупость!

Этот совет — разврат, блуд белены — собрание.
В залах факельных ваших по алебастру лампы
всеосвещающие. Их письмена: „Встань и иди! И — будешь!”
Арфа моя отсырела от бреда бессонниц. Я встану рано.
Солнце Восхода из арфы моей выпарит росы.
Пепел — мой хлеб, а питье мое — мокрый воздух.
Камень — меня строитель отверг и я не встану
ни во главу угла. Кану, куда вся канет.
Слово пою! — как пеликан в пустыне.
Сплю, говорю с глазами: филин кладбища:
вот оно вам, что вы возвещали „И — будешь!”
Будет! — лишь червь и кость ваших могил мяса.
Вы посмеялись над мыслью нищего: „Слово — суть сути”.
Множество тел толкали меня и лимфой тельцов обливали.
Псы сатанели, пересчитали клыками мои ребра.
Ризы мои запятнали навозом, отчи мои одеяния — в
лепрозорий.

Дали мне в пищу желчь, в уста выливали уксус.
И восклицали: „Вот он вот-вот умрет и имя его не
воскреснет!”

Оводы очи мои клевали, от жаб — укусы,
гусенице — мои дерева плода, саранче — труд злака,
цепью убили мой виноград, а сикоморы — секирой,
скот мой казнили язвой, стада пали от молний.
Да, я дрожал душой. А вы восклицали:
„Кто к нам со Словом придет, тот от Слова погибнет!”
Так я молился во мгле своему Слову:
„Душу мою от меча не избавь, от псов — стук ее одинокий,
если мой путь за — горизонт, за — Долину Блужданий,
зла не боюсь — со мною Твой жезл и Твой посох.
Гнев — на мгновенье Твой, на жизнь — жизнедаянье.
Вечером водворяется плач, наутро — с нами радость.
Нищий не навсегда забыт, бессмертна надежда нищих.
Бездна аукает бездне хором Твоих водопадов,
волны Твоей власти — над моей судьбой.
Логовищами львов, клыков и когтей, — клятва!
Львам ли пленять во тьме чуда Твоих таинств?
В этой земле забвенья оклеветали Твою правду.
Душу мою не возьми от злодейств, от львов — стук ее
одинокий!

Те колесницами, те конями, а мы — именем Слова!
Сжима, или скитанья — чисел не надо: было!
Слезы — в сосуды воска, в страницы страх замуруем...
Слово — как звук Небес и над нами — жилище солнца!”
Вымя племен нарываает, беременеют расы,
как сыты сыны их в лежбищам лжи, в шествиях праздненств,
дочери лижут живот на чердаках винных,
пленка завяла в глазах отцов, их уши упали.
Пир вы пророчили в грезах грядущих, — где же?
Ужас у вас самих: вот — удар стрелы! ибо сами — убийцы
стрельбищ.
Нет с вами пророка и кто вас воспитывает — доколе!?
Воды — твои, Вавилон. Блудница, а я — жив и слезу не вылью.
Арфу свою повешу на вербу, — шуми и мешай струнами!
Связанный вервием не откликнется Словом веселья,
очи он отвратит, язык за зубами отравит,
знака не даст, если в столицу ворвется варвар
(слышу копыто крови и меч мести!)
и разобьет о камни твоих младенцев!

ДОЖДЬ

Шел дождь под солнцем. С палкой серебра.
По цвету сам — то солнце и желток,
а то кристаллом красным голубел.
В окно хотел зайти — я не впустил.
Есть дверь для всех, — давай в мой дом, дождь.
Позавтракал? Вот стол. Вот табурет.
Сухая рыба, хлеб (мой завтрак прост),
два яблока — тебе одно, и мне.
Теперь послушай (ты поел?) : ты шел
с Восхода на Закат. И ты поил
животный мир своей водой живой.
Ты мастер молний в небе молока.
Ты радуги рисуешь, как дитя.
И я, босой, дождинками дышу.
Я — только рисовальщик слов. Вот тут
корова, — нет молекул молока,
собака, — не укусит за меня,
Мадонна, — полюбила бы, но как?
младенец, — годовалый на века.
Они мертвы под прессом ста страниц,
сейф текста без волшебного ключа.
Я так устал впустую рисовать.
Ты оживи мои творенья, дождь:
я жизнь не жил, а рисовал. Но им
даждь жизнь и страсть, насущный хлеб и кровь...
ДОЖДЬ ОЖИВИЛ ИХ И УЖЕ УШЕЛ...
Корова встала. Четырех копыт
четырежды треск и горла гул,
и поскакала вскачь за Горизонт,
и человечество — доило! — сыр,
сметана, сливки, масло, — польза крав!
Залаяла собака мне в лицо, —
не я хозяин и не та страна, —
кусать клыком! — я плетью выгнал вон!
Мадонна мне ничуть не отдалась,
вошел солдат и оплодотворил.
Я вырастил младенца в мужа. Он
сказал: ты не отец! — За рукоять
взял меч. И, может быть, меня убил...
Но умер я... Следы моих страниц
бесследны. Некому теперь творить.

Есть — поколенья. Счастливы — сейчас!
И сеют всюду мяса семена.
Слов не рисуют. Попросту растут.
А на моей могиле муравьи
стопами сапогами, — на войну.
Съев хлеб и соль, влюбленные тела
рождают третье тело. На луну
все воеет сука с выводком щенят.
А дождь идет под солнцем. Так стучит
по тем трамваям палкой серебра.
А люди ледяные по утрам
идут на труд с дождем, — о пот лица!..

Но умер я... И счастлив я, что мертв.

ОТПЛЫВАЕМ

Васильки уже и маки —
асфodelы,
листья, как младенцы птички —
клювы, глазки.
Это наши души души
в царстве смерти,
как на цыпочках, на лапках
с коготками.

Красота. Волнение Стикса —
блеск без блеска.
Апельсиновые тучи.
Воздух в звездах.
Кто-то вскрикнул. Или это —
чувство часа?
Лишь трехглавый лай без цепи
пса Цербера.

Вот лицо его без мяса
у Харона,
а весло его из камня
в волнах вялых.
Кудри черные с крылами
у Таната.
Меч конца теперь целую:
— Здравствуй!

Души души, вот и башни
там, темницы.
В лодке люди. Отплываем:
ныне — тени.
До свиданья, или проще —
не прощайте!
Может, будет лучше меньше,
но — не хуже!

Дождь идет по улицам, как лошадь,
стукают всю его копыта
тут и там.

Человечки во плащах и шляпах
кутаются, а по лицам влага,
как сто слез.

Им совсем не больно, а — боятся, —
как стучат копыта исполина!

Так боялся варвар, если — Рим!

Дождь мой дождь. У медных магазинов
Старец захлебнулся. Трость, как ветвь
плавала. Стояли истуканы,
головами в кепочках качая:
— Вот ведь смерть!

Или залил детскую коляску,
мама в ней выращивала кроху,
а детеныш тот
бился, как в аквариуме рыбка
хвостиком и перышком плескался, —
жив еще!

А какой-то без трусов, в тельняшке
шел по лужам, как Христос по морю,
песню пел!

Двое, не таясь и не стесняясь,
предавались поцелуям, если
это называют поцелуем, —
ходуном ходили их зады
у пивного в кружевах ларька.

Трое ели кильку, улыбаясь,
угрожали мне самоубийством,
я сказал: согласен, а они
бросив кильку, бросились в атаку
на меня, но я не защищался,
дал по морде трижды и ушел.

Шел я шел, а дождь стучал копытом
по моей башке и я не вынес, —
поскакал.

Дождь мой, лошадь, мы с тобой ускачем
за три моря в тридевято царство,
и в пути
бей копытом, не жалея живое,

человечков во плащах и шляпах, —
труп на труп!
Старец сдох, — на то он был и старец.
Все-таки в живых еще детеныш!
Тот, в тельняшке, — он войдет в трусы!
Двое — любят. Их честны объятья.
И у всех у них вообще-то — счастье!
Умоляю: пожалей троих!
Ведь они себя убить хотели,
а потом меня, а я — по морде.
Хорошо ли так? Нехорошо!
Пожалей их. Отстрани от бедствий.
Ты спаси их сон крылами капель.
Пусть они
знают, что и порознь и все трое
прожили при жизни жизнь недаром:
кильку ели! — это ведь немало
для людей!

Я вышел в ночь (лунатик без балкона!)
Я вышел — только о тебе (прости!)
Мне незачем тебя будить и беспокоить.
Спит мир. Спишь ты. Спят горлицы и псы.

Лишь чей-то телевизор тенора
высвечивает. Золото снежится.
Я не спешу. Молений-телеграмм
не ждать. Спи, милая. Да спится.

Который час? Легла ли, не легла.
Одна ли, с кем-то, у меня — такое!
Уже устал. Ты, ладно, не лгала.
И незачем тебя будить и беспокоить.

Ты посмотри (тебе не посмотреть!)
какая в мире муть и, скажем, слякоть.
И кислый дождь идет с косою, как смерть.
Не плачу. Так. Как в камере. Как с кляпом.

Ночь обуяла небо (чудный час!)
Не наш. Расстались мы, теперь — растаем.
Я вышел — о тебе. Но что до нас
векам, истории и мирозданию?

В такие вот часы ни слова не сказать.
А скажешь — и зарукоплетут ложи.
А сердце просит капельку свинца.
Но ведь нельзя. А то есть — невозможно

Не подадут и этот миллиграмм.
Где серебро моей последней пули?
О Господи, наверно, ты легла,
а я опять — паяц тебя и публик.

Мои секунды сердца (вы о чем?!)
Что Вам мои элегии и стансы?
Бродяги бред пред вечностью отчет —
опавшим лепестком под каблуками танца!

Нет сил у слов. Нудит один набат
не Бога — жарят жизнь тельцы без крови!
Я вышел вон. Прости. Я виноват.
И незачем тебя будить и беспокоить

было...

* * *

Когда асфальт расставит розы
в белых снегах,
я выхожу на улицы мороза
с никем, с никак.

Я выхожу и вижу: девы в масках, —
фигурки тех,
египетских. Но пресный привкус мяса
в очах у дев.

Увлажены у юношей все уши, —
в звездах орда!
Тверды театры. В перепонках лужи.
Ответ — октябрь.

И только сердце так висит, шатаясь,
как на суке.
В куда вокруг за тридевять шагаю
с никак, с никем?

Выхожу один я. Нет дороги.
Там — туман. Бессмертье не блестит.
Ночь, как ночь, — пустыня. Бред без Бога.
Ничего не чудится — без Ты.

Повторяю — ни в помине блеска.
Больно? Да. Но трудно ль? — Утром труд.
В небесах лишь пушкинские бесы.
Ничего мне нет — без Ты — без тут.

Жду — не жду — кому какое дело?
Жив — не жив — лишь совам хохотать.
(Эта птичка эхом пролетела.)
Ничего! — без Ты — без тут. Хоть так.

Нет утрат. Все проще — не могли мы
ни забыться, ни уснуть. Был — Бог!
Выхожу один я. До могилы
не дойти — темно и нет дорог.

Я разлюблю (клянусь!) Тот рай-бал!
Империя бокалов! Рой роз!
Но отзвенел от вин злат-зал.
И мусорщик метет грязь грез.

А я во тьме ласкаю мех свеч,
кружатся буквы — ипподром ваз...
Я вынесу любую месть, меч,
не разобью ни розы в знак вас.

Как счастье в *них* царит — цепей шелк,
их храп — хорош, тверда звезда правд,
они пришли за мной — в щитах щек!
Что ж. Грудь моя открыта, — бей, брат!

Я вынесу любую плеть, плен.
Я разлюблю тебя в телах толп.
Ибо — для *них* кольца твоих колен
девичья нежность твоих, а я — тот,

так, которого не было, не вопрос
и не ответствие, — стук ничьих сердец...
„Вправо пойдешь”, „влево пойдешь” — путь прост,
да не сложнее, в общем-то, третий — путь в смерть.

ЗНАКИ

(1972)

* * *

Когда жизнь — это седьмой пот райского древа,
когда жизнь — это седьмой круг дантова ада,
пусть нет сил, а стадо свиней жрет свой жолудь, —
зови зло, не забывай мой мир молний!

„Я — это мы”.

„Искусство — святыня для дураков”,
распятью — расплата,
художник — и Цезарь и Рубикон
любви и разврата,

атлет и аскет, наперсник и враг,
смертям — аллилуйя!
он Каин, он Камень у райских врат,
плевок с поцелуем,

он мать и блудница, мастер мужчин
и женского жеста,
порфиноносец и простолюдин,
насильник и жертва,

ладан и ^яад, амбросия, слизь,
он — истина, месса,
микроб и звезда, скрипка и свист,
гримаса Гермеса,

он плеть и рубец, орало мечей,
о клоун мучений!
палач и паломник, для пули мишень
и пуля в мишени,

лавр и терновник, Сизиф и Вулкан,
вакханка геенны,
в нем нежно и страстно сплелись на века
злодейство и гений!

И, если на землю падут топоры,
Суд Первый — Последний,
и станут пред Богом дворцы и дворы,
престолы, постели,

святыня и ересь, правда и спесь,
причастья позора...
— Ты кто? — спросит Бог. Он ответит: — Я — есть.
А вы поползете,

наивны, невинны, отнюдь не новы, —
лишь толпы и толпы.

Виновен — лишь он. Он — не выйдет! — не вы! —
Он — есть, сам, и только.

ЛИТЕРАТУРНОЕ

Сверчок — не пел. Свеча-сердечко
не золотилась. Не дремал
камин. В камзолах не сидели
ни Оскар Вайльд ни Дориан

у зеркала. Цвели татары
в тысячелетьях наших льдин.
Ходили ходики тиктаком,
как Гофман в детский ад ходил

с Флейтистом (крысы и младенцы!)
за плугом Лев не ползал по
Толстому. Было мало денег
и я не пил с Эдгаром По,

который вороном не каркал...
А капля на моем стекле
изобража^{ла} только каплю,
стекающую столько лет

с окна в социализм квартала
свинцовый. Ласточка-луна
так просто время коротала,
самоубийца ли она?

Мне совы ужасы свивали.
Я пил вне истины в вине.
Пел пес не песьими словами,
не пудель Фауста и не

волчица Рима. Фаллос франка, —
выл Мопассан в ночи вовсю,
лежала с ляжками цыганка,
сплетенная по волоску

из Мериме. Не Дама, проще,
эмансипации раба,
устаи уличных пророчиц
шумела баба из ребра

по телефону (мы расстались
и я утрату утолил)
Так Гоголь к мертвецу-русалке
ходил — любил... потом творил.

Творю. Мой дом не крепость — хутор
в столице. Лорд, где ваша трость,
хромец-певец?.. И было худо
не шел ни Каменный, ни гость

ко мне. Над буквами-значками
с лицом, как Бог-Иуда — ниц,
с бесчувственнейшими зрачками
я пил. И не писал таблиц-

страниц. Я выключил электро-
светильник. К уху пятерню
спал Эпос, — этот эпилептик, —
как Достоевский — ПЕТЕРБУРГ.

ВРОЦЛАВ

Станиславу Сроковскому

Город мой первый, в котором было все правдиво и просто.
Добрый друг-стихотворец, неслыханный в наши века двойник
Атоса.

Веселье вина, веселье до помертвенья и отрицанье насущной
пищи.
На улицах — вельветовые голоса Польши, как плеск птичий.

Таинства театров, такси предрассветного эха.
Три красных-красных гвоздики в отеле „Полонья” и... одна
Эва.

Девушка детская, что ты со мной в этом подлунном?
Вот и опять объятья — не объятья и поцелуи — не поцелуи

бьются в агонии на сосцах и на устах твоих, наших...
Нужно немножко дышать, чуть-чуть, любить — не важно.

„Любишь — не любишь” — ромашка под солнцем? под
лилиями мошкара ли?
Все мы — „я”, „ты”, „он”, „мы”, „вы”, „они” — все мы
кружимся в этом мифическом маскараде.

Друг мой, последний Атос, или мистик с вечным воплем
„торо”!
Вот и все меньше и меньше, нас, мушкетеров,

утром блистающих солнечной шпагой в аудиториях сольных,
ночью — блюющих, в слезах, в декламациях бреда над
раковиной свинцовой.

Нас, маскарадников, милый, королевских капустниц,
может, уже убили, а, может, еще отпустят.

Три красных-красных гвоздики в отеле „Полонья”, ковры
ледяных одеял, — моя сцена.
Простите меня, Польша, не своего ^{Шопена}_{не}:

За тридцать дней — тридцать бессонниц и жалких от сна
восстаний,
тридцать истерик над раковиной свинцовой — и ни вопросов,
ни воспоминаний.

Дождь. Это бог шевелит миллионами пальцев, это зонтики
разноплеменные
кружатся. Это
мир миллионов
и... одна Эва.

ЗВЕЗДЫ

Расплакались звезды бельгийские:

„Ты бежал Долиной Блужданий,
летал летучей мышью,
скакал, скиф-скиталец
туманными табунами.”

Расплакались звезды немецкие:

„Пел разум, а сам безумец,
славил Вавилон, — руина,
знак золота, а сам — без хлеба,
играл любовь на лире лая —

семь струн, как семь дней творенья,
семь стай в облака без солнца,
семь тайных сетей в безрыбье,
семь оборотней и русалок.”

Звезды-звезды над Нотр-Дам’ом
запахнули рясы монашьи,
зацепили пальцы крестами,
стояли или спали, — молились.

Лишь не плакали звезды польские,
убегая на восток, вопили:

„Не знаем, он был, или не был,
без короны царь, пастух без стада,
роза без цветка, без перьев птица,
никому не нужный лист без ветки,
не исполненный мотив без текста,
инструмент без струн — без звука звона,
безязыкий язычник в костеле,
позабытая скамейка в скалах,
на которой вороны-варяги
влагу пьют и, голодая, воют,
объявляя небесам и солнцу
не протесты, а проклятья... гибель”.

РИТОРИЧЕСКАЯ ПОЭМА

1

Настанет ночь!.. Сейчас условно утро.
Есть солнце где-то. Небо в небесах
цветных. Уже из ульев улетели
трудящиеся на крылах похмелья,
белея белыми воротничками.
И пуговицами из перламутра,
и запонками, пряжками, замками
портфелей — был заполнен звоном воздух.

Теперь такси, как плитки шоколада
блестят. Трамваи — детские игрушки:
колесики, скамеечки, звоночки.
Ларьки пивные в кружевах из золота.
У дворников, как у международных
убийц — хитросплетения лозы, —
настраивают мусорные лиры.
В мальтийских магазинах продавщицы
качаются, как веточки сирени.
А на совсем арктической аптеке
глаголом жжет сердца версальский лозунг:
**ВИТАМИНЫ СОДЕРЖАТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТАБЛЕТКАХ,
НО И В САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПИЩЕ.**

Ах, детский мир! Мир меха или меда!
Я видел девочку с небритой мордой
лет девяти. Такая террористка.
Ей кто-то в пьяной драке вырвал клык.
Нас всех дразнили пунцовые перси
на малолетнем тельце. А она
бежала быстро в спущенных чулках
с бутылкой белой (там виднелась водка).
Она таилась сзади всей толпы,
по темени тихонько убивая
всех наших дядь и тетя, и мам, и пап.
Еще на этой журавлиной шейке
веревочка от виселиц болталась.
Волшебница — дитя! Ты просто прелесть.
И кто-то там потом — в тебя влюблен,
волнуется, неся к десятилетью

трусы-трико, бюстгалтеры, как латы.

О Ты, Всевышний Режиссер Вселенной!

Отдай нам наши розовые роли
в том детском мире фантиков и марок,
скакалок, попугаев, ванек-встанек,
наденем платица, и с леденцами
под фильмы флейт (эй, занавес!) — на сцену:

У МЕНЯ БОЛИТ БОТИНОК
МЫ КУПАЕМСЯ В КАКАО
ЕШТЬЕ СЛАДКИЕ ЛИМОНЫ
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОМИДОР —
ЭТО КЛЮКВА!

Что люди! Больно бьется сердце камня.

Но нет ему больниц. И нет спасенья.

Деревья обрастают волосами,
кровавый сок по их телам растаял,
по их кишкам, а с лиц — слезинки крови
кап-кап... Лизни — как вкусно и смертельно:
кап-кап!

А у цветов опали уши,
цветы гологоловы, как жрецы
Египта. Из дендрариев апреля
они в пустыни с посохом пошли.

Цари Сахар, сибирей, эверестов,
ревут по тюрьмам звери, как равнины.
А человек идет свои путем:
Царь зла, свирепый Преобразователь
больного Бога и Души живой.

И, отдавая должное скорбям
людским, я говорю: мне как-то ближе
и символичней Скорбь Скорбей скота

Дома — варфоломеевские вафли.

Мой пудель улыбается, как фавн,
 (их водят на брезентовых цепях.
 в карманчике — совок, собачий скипетр:
 нагадят там, где ноги дивных пьяниц
 шатаются под тяжестью телес.
 Кто поскользнется на собачьем кале?
 потом — умрет немножечко: урон
 на трассе трудового героизма.
 Труд от собак спасает государство).

Дома — святые скалы в океане
 бензино и металло-испражнений.

А мы в пещерах собственных и в шкурах
 своих еще, почти не волосатых, ↑ атавизм.
 Грудь у мужчин чуть-чуть звероподобна,
 у женщин ноги тоже звероваты,
 но идеалом самовыражения
 простейших правд и инстинктивных истин
 послужит хор и хоровод старух.

но и не безволосых

Как сироты на тех кремлевских тронах,
 как адмиралы океана-ада,
 как сфинксы в сарафанах у скалы,
 у инициативных клумб цветов, —
 сидят старухи.

Одной семь тысяч лет, другой семьсот
 миллионов. Самой белой — биллион.
 Седалища у них — на время оно.
 И не мигают львиными глазами.

Они сторуки, как гекатонхейры,
 стооки — линзы местной медицины,
 стоухие, как полицейский цех.
 Они не пьют, а если пьют, то млеко.
 А вместо сладострастных ягод юга
 каких-то витаминных жаб жуют.
 И как умеют, так и ненавидят
 жидов, собак и, кажется, детей.

Но нет жидов. Уехали к евреям.
Детей лелеют с нежностью жандармов
родители. Собака может в морду
(вот — в женской жизни поцелуй последний).
И потому, все нервы обессилев
в борьбе за нравственность и равноправье,
старухи пишут в институт инстанций:

что есть у нас идеи идеалов
но развит лишь разврат Псы жрут как люди
а люди — псами псы Не труд во имя
и не моральный кодекс а бардак
Детишки вместо школы там и тут
в свинарниках и свиньями растут
И вообще к несчастью нет жидов
по попустительству их отпустили

И (извините!) все О Коммунизме
кто как и где попало говорят
не тот народ и вовсе нет любви
тем более что требуются тюрьмы

ЧТО Ж ВЕДЬ И ЖИЗНЬ НЕ ПРАЗДНИК А БОРЬБА

3

Мой дом! Весь в занавесках театральных!
Броня и сталь — о люльки-лифт-кабины,
на лестницах блюют бродяжки-кошки
и инвалиды бегают, как белки.
О мусоропроводы, вы — органы!
За каждой дверью радио рыдает
О счастье трудового героизма.

Любимцы неба в черных лимузинах
пойдут концлагерями канцелярий
поплевывать или повелевать.

Потенциальные самоубийцы
опять срифмуют буквицы-значки, —
патенты на безумье и безвестность.

А племена труда и счастья мира
намажут хлеб опилками металла
и будут кушать, запивая нефтью
и целовать свой самый лучший паспорт
многонациональный.

Кто еще?

Милиция, капустницы, карлицы,
флейтисты, пьяницы, пенсионеры,
майоры, парикмахеры, хирурги,
т.д. т.п... Мы и не мертвецы.
Нас вовсе нет. Мы лишь плечом к плечу, —
консервы своего коллективизма.

Не человечество — мы только даты
рождений и смертей. И в наших массах
не менее смешны и безвозвратны
страдальцы страха — мученики муз.

Что нужно нам — что ищем — что имеем?
Нам нужно тело. Ищем только тело.
Имеем тело. Все равно свое,
врага ли, друга, бляди ли, невесты,
пусть тело вишни или тело розы,
пусть тело соли или тело хлеба, —
ТЕЛА ЛЮБВИ ИЛИ ТЕЛА ТЕЛЬЦОВ

И в этой атмосфере атеизма
(вот парадокс!) не знаем вкуса тела,
а лишь его химический состав.

**ВИТАМИНЫ СОДЕРЖАТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТАБЛЕТКАХ
НО И В САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПИЩЕ**

Зачем заклали вы больного Бога,
затем, чтоб объявить тельца-атлета?

За что вы задушили Душу живу,
миряне мер, отцы своих отечеств,
за то, чтоб насыщать свое мясное
вовек анатомическое сердце?

За что вы погубили дома Духа,
за обещанья нищим храмов хлеба?

Наивных нет — небес. Земля — земная.
И кто-то там, не в небесах, негласный,
штампует наши мысли и шаги.

Зачем, Строитель, ты мой дом построил?
И почему ты нами заселил
бездушными, безбожными тенями?
И улицами имени Коцита
и Ахеронта нас пустил по свету
в ладьях на симфонических колесах
с Харонами-рулями, — жрать и плакать,
тела у нас трясутся от труда,
а Души — сбошированы в какой-то
не в небесах, негласной, картотеке.
Нам их не знать...

**ЛИШЬ В КОМНАТЕ МОЕЙ
ЛИШЬ ХОДИКИ — ОДНА ДУША ЖИВАЯ —
СТУЧАТ СВОИМ МЛАДЕНЧЕСКИМ СЕРДЕЧКОМ**

4

На солнце смотрят^и лишь слепец очами
отверстыми. Лунатик на луну
идет, не глядя. Это — лунный брат.
И этот космонавт не бред природы, —
прилив-отлив по стадиям луны.
В сию секунду он и сам — светило.
Храбрец без корабля, на парашюте
от одуванчика, он облетает
галактики вне времени...

Балкон

Большого Дома в вашем Вашингтоне.
Вот он нащупал где-то паутинку
ногой в скафандре... он сошел с балкона
и вот поплыл — нео-поп-арт и эго-
эквилибрист и хиппи, Кант и Хант...

Она

в трусах-трико, в бюстгальтере, как в латах,
с веревочкой и в спущенных чулках
взвивалась в воздух и взвилась, как знаем...
И оба очутились на луне.

**А НА ЛУНЕ ТОРЖЕСТВЕННО И ЧУДНО
ВНИЗУ ЗЕМЛЯ В СИЯНЬЕ ГОЛУБОМ
— Я ЗВАЛ ТЕБЯ НО ТЫ НЕ ОГЛЯНУЛАСЬ
— Я ВАС ЖДАЛА А ВЫ ВЫ ВСЕ НЕ ШЛИ**

**О Ты, Всевышний Режиссер Вселенной!
Здесь логика не так-то уж легка:
державы двадцати веков! Теперь
лишь аббревиатуры — весь ваш атлас.
Не жизнь — какой-то хитрый алфавит
мистический со знаками кабалы —
кресты и звезды всех фатальных форм.
Взамен судьбы — гербарии гербов.**

**Какой младенец, там, у Двух, родится?
Какие скрестят аббревиатуры?
Какую сверхгалактику он станет
осваивать? Зачем? Чтобы забыть
про Землю, про свою слезнику крови?**

**Но это бред, шалун. Зерно не может
цвести в металле. Женщина не может
искать у овна оплодотворенья.
А Человек и Космос — греза грусти
фанатиков, а проще — генералов
для войн грядущих на Земле,**

инстинкт

**побега от смертей — куда попало.
Есть космос? — пусть хоть космос! — но бежать!**

**ВРАЩАЕТСЯ ЗЕМЛЯ
МОЯ КАК ОДИНОКИЙ ГЛАЗ ЦИКЛОПА**

5

**А мы — паяцы в маскараде толпищ:
кто КРЕСТ несет, а кто свою ЗВЕЗДУ
счастливую. И не понять паяцам:
есть КРЕСТОНОСЦЫ или ЗВЕЗДОНОСЦЫ,
а ЧЕЛОВЕКУ в мире места — нет.**

Лишь Первый
КРЕСТ пронесит на Голгофу.
Все остальные — именем КРЕСТА
крестоубийцы. И волхвы Востока,
объятые кошмаром обещаний
очередной религии,

опять

возьмут дары, пойдут искать по свету
все ту же Вифлеемскую ЗВЕЗДУ.

Лишь Первая Звезда
нам путеводна,
все остальные — гипнос или тьма
пути. Куда? Как знаем — мы не знаем.
И результат всех этих изысканий:
знак равенства — шлем Рима или каска
всей современности — огонь и меч.

КРЕСТ и ЗВЕЗДА по сути — близнецы.

КРЕСТ

звездообразен. Если прочертить
весь контур пресловутых перекладин,
получится, как ни парадоксально,
любая форма и любой ЗВЕЗДЫ.
Зубцы ЗВЕЗДЫ крестоподобны. Если
как мы сказали выше, прочертить
вершинки треугольного ЗВЕЗДЫ,
получится какой нам нужно КРЕСТ.

А наша современность — варианты
смешения любых крестов и звезд...

ТАК ПОМЕСЬ ЧЕЛОВЕКА И КОБЫЛЫ
ДАВАЛА ДРЕВНИМ ЭЛЛИНАМ КЕНТАВРА

ОХ ЛИРИКА! ВСЕ ДО СМЕШНОГО ПРОСТО

6

Настанет ночь... Нейлоновые луны
восходят. Режиссер, над нами луны!
Печальные лунатики планеты
как ангелы Земли, над океаном

по паутинкам медленно гуляют...
им нет границ. И контур континентов
для них — лишь география, не больше.
Их окликать по имени опасно.
Они, как безымянные герои,
по паутинкам медленно гуляют.
И их не осветить и не освоить.

Осваиваю свой Освенцим буквиц,
напрасность неприкаянности, Зла
залог. И не пишу (я не пишу!)
давным-давно. И это не творенье —
риторика, фантазия фантома,

**ЛИШЬ ТО ЧТО Я ХОТЕЛ ПОКА СКАЗАТЬ
ВПАДАЯ В ЖАНР ПОСЛЕДНЕГО СКАЗАНЬЯ**

ДУМА

Я думаю, что думать ни к чему.
Все выдуманно, — я смешон и стар.
И нет удела ничьему уму.
Нас перебили всех по одному,
порфиросцев журавлиных стай.
Ты — кормчий, не попавший на корму,
мистификатор солнца и сутан...
Устал.

Яд белены в ушах моей души.
Бесчувственные бельма на ногтях.
Хочешь — тоже слушать не хотят.
Не Мстят, а не молятся карандаши:
— Мы — рыбы, загнанные в камыши
(общеизвестна рыба нагота!)
Любую ноту нынче напиши, —
не та!

Вот улей — храм убийства и жратвы.
Ты, демон меда, ты пуглив и глуп,
ты — трутень, все играющий в игру
бирюльки и воздушные шары,
ты только вытанцовывал икру
и улью оплодотворял уют.
Но всунут медицинскую иглу, —
убьют.

Я не люблю, простите, муравьев.
Их музыка — лишь мусор (вот восторг
труда! вот — вдохновение мое!)
Тропинкой муравьиной на восток,
обобществляя всякий волосок,
Моралью Мира объявляя храм
жратвы и жизни. Или, скажешь, драм
добра?

Да брось дружок. Уйди и убедись:
Борьба? — о пресловутый пульс убийств!
Все — Общество, История, Прогресс.
Мне — истиннее как-то стрекоза,
в дождях светящаяся, как в слезах,

медуза камня, чертежи небес,
истерика змеи и полюса...

А — сам?

Ты посмотри, какое на дворе
тысячелетье, милый мальчик-волк.
Любить людей и думать о добре, —
люби и думай! Жгу священный воск,
сам — солнце, сам — движение дождя.
У Бога нет души, я — Бог-Душа,
(не сердце с телесами, — отойди!)
Один.

Я сам собой рожден и сам умру.
И сам свой труп не в урну уберу,
не розами — к прапращурам зарыт!
Сам начерчу на трещинах плиты:
„Клятвопреступник. Кукла клеветы.
Сей станет знаменит тем, что забыт.
И если он однажды обнимал, —
обман.

Не „кто” для всех, а некто никому.
Не для него звенели зеленыя.
Добро — не дар. Ни сердцу, ни уму.
Еще от жизни отвращал свой зрак.
И не любил ни влагу и ни злак.
Все отрицал — где небо, где земля.
Он только рисовал свой тайный знак —
знак зла.”

КРАСНЫЙ САД

Мой Красный Сад! Где листья — гуси гуси
ходили по песку на красных лапах
и бабочки бубновые на ветках!
карленки-медвежата подземелий
мои кроты с безглазными глазами!
И капли крови — божии коровки —
все капали и капали на клумбы,
И бегал пес по саду, белый белый
(почти овца, но все-таки он — пес),
Мой сад и... месть...

Как он стоял! Когда ни зги в забвенье,
когда морозы — шли, когда от страха
все — старость, или смерть... и веки Вия
не повышались (ужас — умирал!)
когда живое, раскрывая рот,
не шевелило красными губами,
а зубы — в кандалах, и наши мышцы
дерев одервенели. Отсиял
пруд лебединый карповый во льдах,
он был уже без памяти, а рыбы
от обморока — в омотах вздыхали...
И только Сад стоял и стыл!
Но мозг его пульсировал. Душа
дышала...

Как расцветал он! Знаю. Видел. Неги
не знал. Трудился. Утром пот кровавый
струился по счастливому лицу.
И ногти, до невероятных нервов
обломанные о коренья — ныли!
И сердце выло вместе с белой псиной
и в судорогах жвачных живота
гнезвился голод. Пах его был страшен,
ибо рожал он сам себя —
живому!

Как он любил! Хотя бы (вижу!) вишню,
синеволосой девушкой росла...
потом детей вишневые головки
своих ласкал! А яблоня в янтарных

и певчих пчелах, — сыновья взлетали
в ветрах на триумфальных колесницах!
И сколько было там других деревьев —
в дождинках в карнавале винограда.
Сад всюду рассылал своих послов
на крыльях:
— Ваш Сад созрел! Войдите и возьмите!
Все слушали послов и восхищались.
Но — птичьих слов никто не понимал,
а всякие комарики, стрекозки
вообще не принимались во внимание...
Не шли. Не брали. Падали плоды...
Мой Сад... был болен.

Сад жил немного. Место — неизвестность.
Во времени — вне времени. И так
никто не догадался догадаться,
что Красный Сад нипочему не может
не быть!
Что Красный Сад — всецветие соцветий,
что нужно только встать и посмотреть
живому. Полюбить его собаку.
Поесть плодов. Собрать его цветы.
Не тронуть птиц. И не благодарить,
лишь знать — он есть.

Никто не знал...

И это был не листопад, а смерть.

Что листопад! Совсем не потому,
а потому, что в самом сердце Сада
уже биенье Бога заболело,
и маятники молодых плодов
срывались... Превращались в паутину
обвислые бесчувственные листья.
А на запястьях ягодных кустов
одни цепочки гусениц висели,
а птицы-гости замерзали в гнездах
поодиночке. Струнный блеск дождя
опять плескался. Дождь, как говорится.
Да что! не плакал вовсе — шел и шел.

Лишь плакал белый пес на пепелище,
овцесобака. Псы умеют плакать.
И листья лапой хоронил в земле.
И скатывал орехи, смоквы, груши
все в те же им же вырытые ямки
и опускал на это кирпичи
и заливал цементом... Разве розы
цвели еще? Цвели, раз он срывал,
охапками выбрасывая в воздух
и желтый дым и красный лепестков
оранжевый заголубел над Садам,
пионы, маргаритка, незабудки,
гортензии, фиалки, хризантемы...
Пес лаял. Я ему сказал: не лаять.
Сказал же? Да. Но лаял. Это — пес.
Но эхо неба нам не отвечало.
Неистовствуйте! Эдак пропасть неба
для солнца лишь, или для атмосферы,
и нашей черноносой белой пастью
все это не разляять...

Сад хозяин
велел себя убить. И я убил.

Что ты наделал, Сад-самоубийца?
Ты, так и не доживший до надежды,
зачем не взял меня, а здесь оставил
наместником и летописцем смерти,
сказал „живи” и я живу — кому же?
сказал „иди” и я иду — куда?
сказал ^{мне} ~~меня~~ „слушай” — обратился в слух,
но не сказал ни слова...

Сказка Сада...
завершена. Сад умер. Пес пропал.
И некому теперь цвести и лаять.

На улицах — фигуры, вазы, лампы.
Такси летит как скальпель. Дом. Декабрь.
Стоят старухи головой вперед.
Псы ходят в позе псов.

Судьба моя
бесмыслица моя моей медузой
сползает к ним чтоб с ними прорасти
в своей соленой слякоти кварталов
растеньищем... чтобы весной погибнуть
потом — под первым пьяным каблуком!

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ САМОУБИЙСТВО

1.

Я оч-нулся

2.

То-есть, вышел из состояния *нуля* и раскрыл свои „*очи*”.
Стало мне *оче-видно*:

тьма и кружочки светил;
и волнистая всюду вода —
то ли льется, то ли разливается,
а впереди в пустоте — петербургский монтаж моста
в красных капельках фонарей;
и фонари же справа и слева,
как золотистые луковицы на вязальных спицах, —

правый берег! левый берег!
цементированные цепи кварталов — сахар и сталь!
Минуты мои! игральные карты! игрушечный мой мир!

Я очнулся на льдине.

3.

Был — год. Тысяча девятьсот. *Ю-билейный*.

Я болел. (или пил).

Ждали Дату.

ДО ДАТЫ оставалось еще свыше двухсот астрономических
суток,

но мы с неподдельной нежностью пили уже с Рождества.

И вот пожалуйста: я очнулся на льдине,

вот — всемирно-историческая Нева,

вот — Володарский мост,

и меня неукоснительно и безвозвратно несет на дамбы.

Меховое пальто, меховая ушанка, сапоги на меху,

до ближайшего берега — миля, что ли, не меньше,

температура воды — нашей ниже,

если, в общем, упасть и уплыть, —

в общем, — можно.

Но в течении вод и в течение маленьких мигов
все меха мои! — тяжкая тема! — и финал феерического
заплыва

предельно прост: на дне.

Сбросить с тела все это тепло и плыть нагишом, — босиком, —
тоже, в общем-то, судороги и смерть.

Оставалась — судьба.

Торопливость здесь ни при чем.

Юмор — основа основ.

Кстати, о юморе.

У кого жизнь чудесная, как у меня, у того чудесам — есть
место.

Месяц назад был юбилей: эннолетье художника ЭН.

В возрасте возраста он гениален у него нежные губы и чуть-
чуть лысоват, — на половину;

носит крестик.

Там были девушки — тоже таланты.

Бутерброды с какой-то серебряной колбасой — были.

Водка — была.

Атмо-сфера

со всеми присущими ей атомами и сферами — была,

все с восхищением все с восторгом

декламировали философию:

Пифагора, Платона, Магомета, Христа, Хомякова, Бердяева,
Мережковского,

Маркузе, даже Харчева и кандидата философских наук...

Парамонова.

Подрались. Помирились. С воодушевлением цитировали:

Спинозу — о жизни и Сократа — о смерти.

Дикция у всех была хороша — отделяли букву от буквы.

После — пели адскими голосами.

В общем, вечер удался.

Я воскрес и вышел на балкон отдышаться.

Балкон на двенадцатом этаже двенадцатизэтажного дома.

Отдышался.

Полюбовался на зимнюю графику — ползли по небу

слева-вниз-направо.

В комнате волосы — вспотели, а теперь хорошо замерзли.

Приблизительно я „пришел в себя” и хотел вот-вот

возвратиться в наш вопль,

но... негласная и невесомая сила схватила мое тростниковое

тельце

и вот —

я ничуть не тяжелее звездочки одуванчика,
я, *вес-елый* пере-*весился* через перила
и повис на двенадцатом этаже,
ухватившись пальцами за толстую плиту-пьедестал (балкона) .

Я ничуть не мало висел, счастливчик,
было так по-птичьих прелестно,
я насвистывал даже, кажется, марши или полонезы,
трепыхаясь, как филин, хохоча задушевно.

Потом — я не помню.

Помню — внизу татарские трупы людей (вертикальки)
в форме букв алфавита, запрокинутые человеческие клювы,
а на соседнем балконе —
чьи-то электрические часы — еле тикающий бочонок,
пристегнутый солдатским ремнем к перилам
(фосфоресцировали красным!)

Снял меня *ю-биляр*: художник ЭН.

Оказывается:

пальцы мои примерзли к тому пьедесталу,
кожу со всей хиромантии этой сорвало,
от холода и от про-*висанья* —
челюсти в судорогах стальные, на губах —
пурпурные пузырьки пены.

Силы святые (что ли?) под-держивали меня на двенадцатом
этаже?

В больнице, забинтованный по-египетски, —
мне с суровостью, свойственной медицинскому персоналу,
объяснили и обрисовали, как я висел, как индивид,
в свете психоанализа и психотерапии,
у меня то же самое *состояние* (*СОС — стоянье*)
по последним данным науки нас и масс,
имя ему — „суицид”,

а, исходя из исходных данных, мне донельзя необходимо:

„взять себя в руки”

„труд во благо”

а еще лучше „во имя”

чтобы „войти в норму”

и „стать человеком”

а не болтаться как килька на двенадцатом этаже,

не имея „цели в жизни”

зарывая „талант в землю”.

В том-то и дело. Я до сих пор исполнял эти тезы.
Я еще пописывал кое-какие странички,
перепечатывал буквицы на атласной бумаге
и с безграничной радостью все эти музы — в мусоропровод
.....
выбрасывал!
И вот опять... очнулся на льдине.

4.

Я немел на корточках, как питекантроп.
Я попытался подняться, — не получалось.
Я не чувствовал ног:
онемели они, отнялись, — не без логики мыслило мое
существо.

Дамбы — двигались. Льдина — летела.
И лоб уже ощущал боль от удара. (Предыдущая боль!)
На дамбах поблескивал иней. Красноватый. Как будто
обсели красноватые комары.
Сей кораблик из спрессованного водорода, построенный на
воздуховерфях, —
разобьется! — вдребезги! —
мое волшебное зеркальце,
на блестящей поверхности коего я еще балансирую,
мой быть может
пьедестал — из последних последний (а на скольких — стоял?)
моя пресловутая ледяная планета,
с которой так сверхъестественно просто
стартовать... (Стар-то ведь, и — куда?)

5.

Вчера — юбилей философского факультета.

Что бы произошло во всеобщей вселенной,
если бы кто-то невидимый и негласный лишил нас юбилеев?
Искушения Дьявола — стали бы самым распространенным
явлением —
мы затонули бы как атлантиды в кошмарах каш
и в прелестях прелюбодейства
в музыкальных музеях мы
разбрасываясь мускулами во все стороны света

разорвали по струнке бы массовую музыкальную культуру
в библиотеках мы запалили бы колоссальные костры из
объясняющей нас литературы
с произведений истинного искусства мы слизывали бы самые
вкусные краски
своих нежных невест для семьи мы побросали бы
чтобы вступать в объятия со всякой попавшейся особью
заводы и фабрики свинофермы и мясо-молочные комбинаты
мы взорвали бы
мы плевали бы на Институты Инстанций
мы взяли бы винтовки новые на штык флажки!

Но ю-билей — о гениальность двадцатого века!
Какое количество коллективов!
Коллегиальность!
Дух! твор-чества!
И у нас и у масс — непрекращающееся приподнятое
настроение!

На *факультете* том *фило-софией* той... (*факел тети вилы*
Софьи!)
Не философы — инспектора — инспектора для Института
Инстанций:

молочный материализм
абракадабра аббревиатур
свирепые силлогизмы нас и масс
ефрейтора в зеленых кофточках
калеки с комплексами искусства
еврей-юристы с бе-е-лыми ушами
девочки с чудным челом и с манией минета.

Вот:
все мы собрались на наш ю-билей
и напившись до бенгальских огней,
декламировали философию:
Протагора, Гегеля, Юнга, Канта, Достоевского, Соловьева,
Шестова,
Фрейда, еще Кона и кандидата философских наук...
Парамонова.

Подрались. Помирились...
И... очнулся на льдине.

Льдина была вся в воде (билась вода!)
я стоял на коленях (боялся!) не встать, я уже весь вспотел,
пот выплывал из-под меха,

расплывался по морде,
заплывал под подбородок,
и выплывал на живот,
виноградные капли пота скатывались по животу,
размякла спина, заливало ее легким алюминиевым
перламутром.

Так что — тошнило.
Руки окостенели от пота... Я уснул.

Сон:

я в центре зала, синего и золотого. Сентябрь.
В инкрустированные венецианские окна влетают и садятся
великолепные листья (клювами — вверх!)
Волосы, вьющиеся, но состоящие не из волос человеческих, —
но звериными звеньями падают и жужжат на человеческом
моем животе:

я — голый — совсем.

Полдень в полнеба.

Но зал в одноногих светильниках.

Или это ноги калек всех времен и народов,

поставленные на пьедесталы почета:

на ляжках (на лицах ног!) — гнусные губы с клыками кобыл,
и тянется пламя слюной и сваливается красными языками
(моими?)

или это языки рабов, или императоров (раб — император —
равны!)

казнимых — казненных (равны!) по хуле — по хвале (равны!)
в жизни, в смерти,,,

Сколько веков в моей жизни нет и вдоха жизни,
сколько веков в моей жизни нет и шага на смерть,
все смертожизнь какая-то никакая — жизнесмерть.

Пой!

В этих страшных и нищих стадах

ты уже уходящий,

уши оглохли от слез,

очи ослепли от струн,

кисти скрестил в Небесах —

и хватит, Художник!

песни оставил в песках —

прощайся, Певец!

Так! Не распустится риза

твоя золотая,

сердце мигнуло и потускнело,
как птичий зрачок!

А в электрических зеркалах, опоясывающих залу
(я цепенею, цыпки по телу!)
вижу миллиарды ресниц своих вращающихся потусторонних
глаз.

Я — голый.

Под исковерканными ступнями моими —
одеяло тяжелых драгоценных монет
с профилями всех времен всех вождей и народов,
а на одеяле танцуют — кошки.

Что за танец! Жуткий, военный!

Но это — кошки!

Ибо они одеты как кандидаты философских наук:
галстуки, запонки, воротнички, манжеты,
только — шеи пушисты и пухлые лапы с когтями
наманикюрными, как в столице Москва
также — советские обручальные кольца,
физиономии же — безукоризненно кошачьи (в кошачьем
пуху!)

а на заднице — хвост,

а на задних лапах —

шпоры с колокольчиками,

и все чуть-чуть разного роста — от кенгуру до комара
(тоже, котенок, скажем — как сигаретка!)

Кошки танцуют и с грацией, свойственной им,
поцарапывают
голого меня.

И хором поют под невидимые и негласные звуки органов:

Луна о белая богиня

увы убила таракана

о обнимая трупик пела

тик-так тараканчик тик-так

Сию же секунду зальются финальные флейты,

ударят утренние барабаны,

и сонмы солдат, окровавленных кровью убийств,
такие мужи, с белыми ушами,

в касках со значками креста и звезды

пойдут церемониальным маршем на Голгофу,

где уже скручены вервием буквицы моего алфавита,

все тридцать три, голые, как и я,

стоят у своих тридцати трех крестов

и толпы в них плещут

олово и цикуту;
и вот взрываются огни предсмертного нашего
юбилейного салюта
и...

я — выбрасываюсь лихорадочно и истерично
из этого сна!
Сон с барабанами — обморок с барабанами и хорами
это последний предупреждающий сигнал, —
смерть! из вне жизни моей.

6.

Я — встряхнулся (а сил — не осталось)
каменные ноги (как у каменной бабы)
в глазах появлялись, пульсируя, радуги
а льдина уже летела на дамбу,
я выбросил руки
и кисти без чувств ударились в дамбу,
меня раскрутило,
и льдина, кружась... исчезла.
Последнее, что я увидел:
правый берег чернобелел
со сталактитами новостроек, таких ненастоящих, до слез
бесцельных,
маленькие машинки с татарскими глазенками,
скачущие по набережной на Восток,
террористические башни подъемных кранов, во тьме, на
ногах жирафы, с головой пеликана, с подвешенными
фонарями.

И рвало меня прямо в стальной воде,
и барахтался я и вращался,
и хватался судорожно за какие-то льдинки побольше и
поменьше,
плыл под водой, опускаясь и выбрасываясь, как всхлип,
и никакого дна ноги не ощущал (болтались!).
Когда я уже ухватился руками за берег,
только в эту секунду почувствовал, что на руках перчатки,
выполз на землю,
и никак и никак не мог встать, соскальзывая,
трясущихся и тритонных,
эту тушу собственного меха,

удесятеренную в весе водой,
не мог,
а все-таки встал и пошел,
и увидел на мерзлых мостах (слева, что ли?)
отполированных инеем,
в шатающемся кружке фонаря, —
снежно-красный бюстгальтер,
новенький, юный, невинный,
дошел-таки до него (цель — о Боже!)
шатаясь под ношей, уже замерзающей и
звенящей
и взял я бюстгальтер, поднес к своему лицу (страсть, о Боже!)
пахло таким солнечным одеколоном, дешевым, девичьим,
я опустил эту тряпку и
пошел дальше,
не выпуская ее, не разжимая пальцы в перчатках...

И воя.

МУХИ (историческое)

Мерзкие мухи... местный орнамент.
Может быть, мухи были орлами
в ветви варягов?

И осененные диво-делами,
может быть мухи были двуглавы, —
визг византийства?

Может быть мухи в очи клевали,
конницу Киева расковали, —
с тьмою татарской?

Кровь на Малюте, кровью Малюты,
может быть мухи сеяли Смуты, —
отрок Отрепьев?

Или же мухи в роли небесных
флагов, убийц флото-немецких
первопетровских?

Или же мухи в рясах растили
Дом Ледяной под кличкой „Россия”, —
бабой Бирона?

Или они посредством „Наказа”
стали совсем бриллиантоглазы, —
флиртом Фелицы?

Или они в сибирях опали
смертью цепей о бульдиге-Павле, —
отцеубийства?

Ревом гусарским в пустыне синайской
мухи махали снегом Сенатской, —
пять в Петербурге?

Может осели (труд и тулупы!)
все что живое — трупы и трупы, —
после в потомстве?

Все, что под именем „многомужье”
преподносили — лишь многомушье, —
блуд балалайки!

И венценосными токарями
в громе с грядущими топорами, —
наша надежда?

СОНЕТ

Пахарь пашет пашню.
Сеятель сеет семя.
У солнца плоды плодятся.
Человек родил человека.
Креститель все это крестит.
О все — во веки веков!

Но знай, что опять, как прежде,
в абстрактных очках и с тростью
идет по седьмой старуха
столице Земного Шара,
не Млечным Путем, не Божьим...
Она убила собаку.
И вовсе ее не ищет.
А ходит и не умирает.

ОРФЕЙ

Им венец, нам — колпак фригийский,
обещанья отцов — о где же?
Эти эллины, мы фракийцы,
так погасим очаг отечеств!
Кифареды, порвите ноты,
с плеч долой купола Атласа,
не пропустим *их* в наши ночи,
нашим плачем *их* не оплачем.
Да бесславными чтобы были
мир-мираж, или вопли-войны, —
пусть мычат эти очи бычьи,
это волчье веселье воеет.
В этой жизни — о неживая!
каземат! коридоры кары! —
в этой жизни жить не желаю,
разбиваю свою кифару!

В водах Гебра вакканки вьются,
их тела в ореоле лилий
под телами юношей бьются,
а над ними — созвездье Лиры.
Я уже — распростимся — умер.
Кровь моя растворилась как-то,
голова моя утонула,
в океаны ушла кифара...

ПЬЯНЫЙ АНГЕЛ

(1969)



Во всей вселенной был бедлам.
Раскраска лунная была.

Там, в негасимой синеве
ушли за кораблем корабль,
пел тихий хор простых сирен.
Фонарь стоял, как канделябр.

Как факт — фонарь. А мимо в мире
шел мальчик с крыльями и лирой.
Он был бессмертъем одарен
и очень одухотворен.

Такой смешной и неизвестный
на муку страха, или сна
в дурацкой мантии небесной
он шел и ничего не знал.

Так трогательно просто (правда!)
играл мой мальчик, ангел ада.

Все было в нем — любовь и слезы,
(в душе не бесновались бесы!)
рассвет и грезы, рок и розы...
Но песни были бессловесны.

Душа моя. А ты жива ли?
Как пес, как девушка, дрожа...
Стой, страсть моя. Стой, жизнь желаний.
Я лиру лишнюю держал.

В душе моей лишь снег да снег.
Там транспорт спит и человек.
Ни воробьев и ни собак.
Одна судьба. Одна судьба.

Вот было веселье! —
толпа-протоплазма!
Вчера во вселенной
был ад, или праздник:

какой-то уродец
какого-то класса
каким-то народам
по радио клялся.

Народы замерзли.
Туда и обратно
несли зызнамены
и тыранспоранты.

По счастью шабаша —
фанфары фальцетом! —
плясали на башнях
пятьсот полицейских.

Я, пьяный и красный,
глаза Саваофа,
шатался по кассам
и по стадионам.

Я страшно согрелся,
на лестнице гнусной
светил сигареткой...
Потом я очнулся...

Мир, Равенство, Братство,
Кадацкое племе,
Кадацкая правда,
Кадацкое время!

Где вина? Где донны?
Где я? — неизвестно.
Две звездочки только,
два глаза небесных.

И не было Феба
и радиоарий.
По нежному небу
летал Пьяный Ангел.

Простор предрассветный,
на крыльях — по лампе,
летал он, предсмертный,
и, может быть, плакал.

А может быть, может
над нашими льдами
душа моя тоже
летает, летает.

А может из странствий
я так возвращался,
а может в пространстве
я так воскрешался.

* * *

О призывайте,
призы давайте,
о признавайте,
не признавайте.

Ведь не во мне же
мой жребий брошен,
мне нужно меньше,
чем птице прошлой.

И в ваши ночи,
и в ваши нови
из всех виновных
я всех виновней.

Какие цели?
За чью свободу?
Лишь ложь и цепи
нужны народу.

Какие судьбы
я развиваю?
Святые струны
я — разрываю!

Судьба^е коварства,
суду без бога
и веку Вакха
отмстим безмолвьем.

Мой ангел уснул (зачем прилетел?)
Он спал. Он хорошего только хотел.
Он с крыльями спал и лирой.
А лира была лишней.

Он завтра проснется: „Простор, прояснись!”
Небесными мастерами
спускается солнце!”
Солнце... Проснись,
мой ангел, мой марсианин.

Здесь в каменных комнатах (о улетай!)
с любовью (тяжелая тема!)
лежало у полумужского лица
лицо полуженского тела.

Уснули кварталы (такая тюрьма!).
На улицах лишь пустота или тьма.
И что ни окошко — флюгер.
И фонари — что фрукты.

Своя современность. И не мечтай.
Она — одна — современность.
Проснись, улыбнись и улетай,
и улетай — все время!

На светлых стеклах февраля
блеск солнца замерцал.
У фонаря, у фонаря
мой ангел замерзал.

И ни двора и ни кола!
Он в небесах устал.
Совсем сломались два крыла,
и он уже упал.

Во всей вселенной был бедлам.
Работали рабы.
Лишь лира лишняя была,
и он ее разбил.

А мог бы получить полет
в прекрасных небесах.
Сначала он разбил ее,
потом разбился сам.

Рассвет фигуры февраля
в пространство удалял.
У фонаря, у фонаря
мой ангел умирал.

Лишь бог божился: „Надо жить!”
(Он, публика, умна!)
И ни дыханья, ни души
на улицах у нас.

Ни бог страниц не написал
ни о добре, ни зле,
ни ненависти к небесам,
и ни любви к земле.

Оттаивали огоньки
по спальням для спанья.
В теснинах страха и тоски
все спали. Спал и я.

Какой-то ангел (всем на смех!)
у фонаря сгорел.
Я спал, как все. Как все, во сне
я смерть — свою — смотрел.

* * *

Так-так сказал один мертвец
другому мертвецу:
— Ты мудрец, и я мудрец,
поедем к мудрецу.

Поехали. Приехали.
Оставили ослов.
Поспорили о веке, —
основе из основ.

Все было: чары, чертов круг,
мечты, молитвы (эх!).
И был тот третий милый друг
мертвее мертвых всех.

Так стало трое мудрецов —
произошел прогресс.
О мысли! Пища мертвецов!
О песенки повес!

А вывод?

 Все на свете — смесь.
Все весело, ей-ей!
И жизнь — есть жизнь, и смерть — есть смерть,
все в сумме — БЫТИЕ.

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА

Спи, мой мальчик, мой матрос.
В нашем сердце нету роз.
Наше сердце — север-сфинкс.
Ничего, ты просто спи.

Потихоньку поплывем,
после песенку споем,
я куплю тебе купель,
твой кораблик — колыбель.

В колыбельке-то (вот-вот)
вовсе нету ничего.
Спи. Повсюду пустота.
Спи, я это просто так.

Сигаретки-маяки,
на вершинах огоньки,
Я куплю тебе свирель
слушать песенки сирен.

Спи, не бойся за меня.
Нас сирены заманят,
убаюкают, споют,
потихонечку убьют.

Спи, мой мальчик дорогой.
Наше сердце далеко.
Плохо плакать, — все прошло,
худо или хорошо.

* * *

Погасли небесные нимбы.
Нам ангелы гневные снились.

Там трубы трубили: „Священная месть!
Восстанем на вся! Велите!”
Метался во тьме тамерланов меч...
Мой ангел... воитель!

Прочь слезы и страхи! К мечу и кресту!
Мы, ищущие, обрящем!
Вашу вселенскую красоту
кровью окрасим!

Бой небу! Господи, благослови!
Мечь — смерти! Святись, свобода!..
А у самого — крылья в крови,
у самого-то...

Месяц март на дворе, месяц март.
Он, как все, не велик и не мал.

Может быть, на снегу снегири
где-то... Где? А на улицах псы.
Через месяц и мне тридцать три.
Не прощай ничего, но прости,
что принес эту смерть, этот крест
на Голгофу твою. Боже мой,
не спасай меня, — надоест.
Я ведь хуже, если живой.

Если тост — за Иуду тост!
Он легенду лишь дополнял.
Что Варрава и что Христос —
одинаково для меня.

Дух, деянья — лишь сказки каст,
мне — лишь мир, лишь его возьму.
Одинаково — жизнь, или казнь,
мир — он милостив ко всему.

Мир — он милостив и ко мне.
Освистите — не освищу.
Не кидайте в меня камней.
Я и сам себе не отпущу
ни греха.

Опустите крест
громогласных своих Голгоф.
Мечь — за смерть! Если это мечь, —
мстите, Господи.

Я готов.

* * *

Май прошел, как ангел пролетел,
ничего — ни сердцу, ни уму,
может, было в мае пара дел,
может, нет, — а ну их, ни к чему,

не ищи виновных, не щади,
я искал, виновен, я — все знал,
май самоубийств и нищеты
под тотальным титулом „весна”,

осуждаю — я оставил пост,
но кого пасти? О, не живой,
мертвый май, он просто — пьян и прост,
так себе, не нечто, а ничто,

суть существования — котел,
или крест, — не мне, не по плечу,
признаюсь: я глуп, но и хитер:
пользуйтесь! я что-то не хочу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИГМАЛИОНА

Теперь — тебе: там, в мастерской, маски,
тайник и гипс, и в светлячках воздух,
ты Галатею целовал, мальчик,
ты, девочка, произнесла вот что:

„У нас любовь, а у него маски,
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,
другую девушку — он мэтр, мастер! —
ему нетрудно, он еще слепит”.

Так лепетала ты, а ты слышал,
ты спал со мной и ел мои сласти,
я обучал тебя всему *свыше*,
мой мальчик, обучи ее страсти.

Мой ученик, теперь твоя тема,
точнее — тело. Под ее тогой
я знаю каждый капилляр тела.
Ведь я творец. А ты — лишь ты. Только.

В твоей толпе. Теперь — твоя вежа!
И молотками — весь мой труд, трепет!
и молотками — мой итог века! —
„ему нетрудно, он еще слепит!”

Теперь — толпе; я не скажу „стойте!”
Душа моя проста, как знак смерти.
Да, мне нетрудно, я слеплю столько,
скульптуры — что там! будет миф мести!

И тем страшнее, что всему миру
вы просчитались так. И пусть пьесу
вы рассчитали молотком — „минус”,
миф — арифметика, и „плюс” — плембу.

Теперь убейте. Это так просто.
Я только тих. Я только в труд — слепо.
И если бог меня лепил в прошлом,
Ему нетрудно, — Он еще слепит.

ХУТОР

Действующие лица:

Пьяный ангел

Девушка

Автор

Хор

Автор:

Холм, на холме хутор со шпилем, и мяукает кошка. Два окна: красное, освещенное, второй этаж; черное стекло — первый.

На холме пасется белая лошадь, живая или бутафорская.

Кусты: крыжовник и красная смородина.

Беседка, увитая плющом и жасмином. Беседка открыта зрителю: деревянные пни вместо кресел, плетеный столик. Подсвечник, свеча. Над беседкой какие-то проволочки для белья, или для фонарей. Далеко — дорога.

Пронесются полосы света.

У подножья холма баня и пруд.

Между беседкой и баней колодец. Он цементный. Деревянный ворот, ведро, цепь. У колодца на каменной скамеечке девушка, простое платье, волосы распущены. Нежная мгла. Во мгле луна, как восходящее солнце, красная. Болтаются какие-то последние бабочки. А по всей сцене висят фонари.

Появляется пьяный ангел — из колодца. Он в белом.

Отряхивается. Нимб.

Ангел:

Меняю лиру на гитару,
меняю Небо на поля,
я — сам свой раб, я — сам свой табор,
не трогайте меня, я — пьян.

Не в небе, не на постаменте,
я сам собой в веках возник,
я вырвал сам себя у смерти
и в смерти сам себя воздвиг.

Не сеятель и не податель,
мне нет Иуды; нет Суда,
я — сам свой Суд, я — сам предатель,
я — сам себе своя судьба.

Меняю знаки — на загадку,
меняю крылья — на коня,
семь заповедей — на цыганку,
я пьян, не трогайте меня.

Все — и ничто!.. Ничуть не легче
атланту или муравью.
Меняю весь Род Человечий
на душу ^ямиую мою!

Девушка (указывая на колодец):
Ты что там делал? Ты — тонул?

Ангел:
Я спал.

Девушка:
В колодце. Как обычно!

Ангел:
Пришел, увидел и... уснул.
И — спал. И — снилось ~~тоже~~ мне,

Девушка:
Отлично.
В воде (плевать на атмосферу!)
окаменел и спал, герой!

Ангел:
Вода была, пожалуй, сверху,
а камень, что ж... под головой.

Девушка:
Фантастика. (Солгал не ахнул!)
Потом про это напишите.

Ангел:
Так спят все ангелы.

Девушка:
Вы — ангел?

Ангел:
Увы, я ангел. Небожитель.

Девушка:
Ты пьян, паяц.

Ангел:
Не отрицаю.
Паяц — пустяк. Я — Пьяный Дух.

Девушка:
Где, Дух, вы пили?

Ангел:
Отвечаю
со всей охотой: пил в аду.

Тринадцать нас (персты на лирах) —
посланцы Неба к Сатане.
Традиционный посох мира.
Сераль русалок. Хор сирен.

Фанфары. Тосты. Ад и Небо!
Святой союз! Святись, свобода!
Брачуются вино и нектар,
весь мир — мирянам — род — народам!

Ну, бесы все перебесились,
не пир — конспект войны Ливонской,
бутылок — что твоих Бастилий,
колбас — что змей Лаокоона!

Светало солнце и садилось.
Котлы. У дьявола в купели
я пил один среди сатиров.
Посланцы, помню, улетели.

Тсс... девушка. В такой таверне
я... Стикс ин вино перешел.
Там поутру мне третьи трели
пел пересмешник-петушок:

„Ты ангел? — Бес. Ты бес? — Не знаю.
Хороший хохот:
те и те
лишь диалектика названий
и суесловие систем.

Восстань, вассал! Какому клиру
деянья детские развил!
Разбей божественную лиру,
все — трын-трава!”
И я разбил.

Я вышел в нимбе (нимб калорий?)
Я — символ истин интеллекта!
И вот, пожалуйста, в колодце
очнулся... Гнусно.

Девушка:
Интересно.
Неплохо и про трын-траву.

Ангел:
Ты что здесь делаешь?

Девушка:
Живу.

Ангел:
Конкретнее, Какая эра?
Где глобус? Что за государство?

Девушка:
Живу, как все — как *то* и *это*.

Ангел:
Уже целуешься?

Девушка:
Гусарство.

Ангел:
Не нравится?

Девушка:

Для вас — нормально.

Ангел:

Я не опасен и не злой.
На двух ногах по наковальнье,
я между небом и землей,
как Гера некогда...

Девушка:

Живая...

Ангел:

повис. Туда, сюда — ни-ни.

Девушка:

Живу и жду — живу — желаю...

Ангел:

Все грозы-розы?

Девушка:

Да. Они.

(Беседуя таким образом, Пьяный Ангел и девушка передвигаются в сторону беседки. Уже в беседке. Свеча. Светлячки. Бьют часы. Девушка вяжет. Спицы.)

Девушка (поет):

Столетье спустя, в январе
был маленький храм.
Святители на серебре,
нехитрый хорал.

Свеча и алтарь. В тайнике
там ангел стоял,
и лира на левой руке,
и благословлял.

О, волосы бел ковыли!
Молитвы слагал
про тех, кто повел корабли
в снега и снега.

Как радостно было у нас,
когда над свечой,
как маленькая луна,
блестел светлячок!

Столетье спустя и еще
с востока пришли
какие-то люди с мечом
и люди с плетьюми.

Они обобрали наш храм,
алтарь унесли
и юношей (вот и хорал!)
на торг увели.

Совсем отгорела свеча,
лишь сторож-фантом
ходил, колотушкой стучал,
да помер потом.

Ангел:
Ты помнишь песню обо мне?

Девушка:
Не о тебе, о том, о нем.

Ангел:
Невеста!

Девушка:
 Не твоя!

Ангел:
 О нет!
Отныне он и я — одно.
Невеста! Крест и три перста!
Благословляю и люблю!

Девушка:
Ты — пьян.

Ангел:
 Святая простота!
Последний миг — умру — ловлю!

Пророк — про рок, про свет — поэт,
мне — нет судьбы и нет святилиц,
мне просто в мире места — нет.
Не жалуясь, уж так случилось.

Раскаянье. Хоть раз в века
в тех лабиринтах мира — Крита
живые души развлекать,
моя — мертва.

Девушка:

Моя калитка
за баней. Шествуйте, дружок!

Ангел:

Я послан за твой душой.

Девушка:

Кем послан?

Ангел:

Сам собой, невеста.

Девушка:

Так сам себя и отошли.

Ангел:

Куда? Ни местности, ни места
отныне мне не отвели.

Девушка:

Наверх! Ты сверху.
Там просторно
для пьяных ангелов-Вийонов,
там семь седалищ, семь престолов
Блюдет Блудница Вавилона.

Бал — для любви, мечи — для мести,
апокрифическая дверь
в небытие. Там все на месте:
Борьба — и Братство — Агнец — Зверь.

Что я? Такие там и тут.
Провинция мы, вы — столицы.
Вам — небеса, нам — только труд.
Мы — хор Христа, а вы — солисты.

Ангел:

Не Дух Святой, а варвар Рима,
Не Цепь и Пух, а — лай! Лови!
не царь-рапсод, а только рыцарь
пой — песенок и май — любви

в столицах ваших (аллилуйя!)
временщиков, воров и цифр
страсть проповедуют холуи
и хамы стали хитрецы.

„Дух Творчества! Ты так прекрасен!
Наш дух у нас на высоте! —
Все памятники перекрасим
в любимый цвет своих вождей!”

О плебисциты толп и путчей!
Все мало, — публика умна:
ей не хватает только пули
свинцовой

в сердце у меня.

Ты — труд. Я — Дух. Одной бумагой:
за труд — тюрьма, за Дух — топор...
Когда очнется Пьяный Ангел
над окаянною толпой, —
так! Только трепет! Гроздь гнева!
Иерихонская труба!
Возмездье всем и вся! Бой Небу!

Девушка:

Я девушка, а не толпа.

Ангел:

Спаси меня!

Девушка:

Спасет, уймиться...

Ангел:
Спаситель?

Девушка:
„Быть или не быть?!”

Ангел:
Так пожалей.

Девушка:
Жалеть — унижить.

Ангел:
Унизить — лучше, чем убить!

Девушка:
Ты — трус.

Ангел:
Не вождь. Но ^енеужели
вожди (знак „вождь” — от сатаны!)
предпочитали униженье
себе
и смерть — всем остальным,

жрец — жертвой, девственница — блудом,
тиран — тиарой, Вах — вином,
Христос — крестом, бастилец — бунтом,
Стикс — смертью, Вавилон — войной,

сирена — сном, солдат — стар^еньем,
хулой — Харон, хвалой — холуй,
все сущее — существованьем
унижено!

Девушка:
Не существуй!

Ангел (ослабел):
Не существуй... Там неземная
звезда... Там полюс... Дождь повис...

Девушка:
Там — дождь идет? (Смеется.) Куда?

Ангел:

Не знаю.

Идет, как все мы — сверху вниз,
вдох-выдох, время — мех кузнечный,
конец... ни страха и ни сил...
Кто это тикает? Кузнечик?

Девушка:

Чердак! На чердаке часы! (веселится.)

(Ангел умирает.)

Девушка:

Эй-эй!.. Уснул... Цитаты библий...
Архаика... Еще пугал!
Смешной, смешной!

(Переворачивает Ангела: крылья, кровь. Вскрикивает.)

А КРЫЛЬЯ — БЫЛИ!

Он — Ангел, правда! Он — не лгал!

(Пауза, рассвет, свеча совсем маленькая, полосы света
проносятся и тают в воздухе.)

Девушка:

Живем, как в пропасть, все — впустую,
пылинки плача на весах,
прости, прости, меня, простую,
что знала я о Небесах?!

Там лишь туманы. Только стая.

Секундомеры-облака.

О скука скорости и стали!

Что обреченных обречать!

Нет — Неба! — темнота — тенета!

Не зная ни добра, ни зла,
на всех копытах континетов
пасется первая земля

над пропастью. Ах, Ангел, брат мой!
Что Дух? — Лишь таянье теней!
Что чудеса! Простая правда
простым нам ближе и нужней.

Душа! Расстаться — расплатиться.
В который рок, в который раз
на душу дунешь — разлетится
по искоркам, — и нету нас.

(Занавес)

Хор за занавесом:
Фарс фарисея,
барабан боли
это творенье.
Суету ~~дует~~ *сеют*
бесы и боги,
тьма и томленье.

Это их игры
света и смерти,
тайны и знаки.
Нет наших истин:
солнце, как сердце
бьется над нами!

(Занавес поднимается.)

Автор:
Холм, на холме хутор, два окна, пасется белая лошадь, кусты, беседка, столик, подсвечник, свеча, проволоочки, дорога, баня и пруд, колодец, бабочки болтаются, фонари висят, мгла — нежная, луна — красная,
девушка — в простом платье.

ХРОНИКА -67
(1967)

БЕССОННИЦА

1.

Улицы — только туннели не моего государства
в красных пятнышках темноты.

Трепетали

бесцельные звездочки фантастических фонарей.

Где-то

семь семимильных теней и гитара убежали с девушками в
пространство.

Они веселились (они — все гимназисты всех времен) .

У гимназистов были волосатые морды, как у эрдель-терьеров.

Они размахивали руками, как буденовцы саблями.

Девушки были больны и банальны от пьянства.

У них — огуречные лица.

Они клекотали орлами.

(Так веселится по воскресеньям радиостанция „Юность”,
передавая туристские песни.)

Так они оглашали мой воздух.

А потом подрались.

А потом улетели:

один, как веселый мотоциклист — вверх тормашками,

один, как трамвайный билетик,

один улетал и сверкал, как бутылка,

остальные и девушки — улечутились, как эфир.

Лишь одна-одинешенка, бедный ребенок, лежала гитара
у стеклянной гробницы метро.

Окна то зажигались, то гасли.

Это в каждой комнате, в оловянной ванне, сидел детектив
и сигналил другому, не менее хитроумному детективу.

А на самом деле:

это советские женщины, отработав библейские смены свои,
убегали в жилища свои, птички-совы с лихорадочными глазами,
с крылышками, опущенными в карманы плащей.

Это рабочие люди, вагонетки в шахтерском тумане улиц,

улетали в свои портативные спальни,

засыпали на рельсах с повседневным углем своим.

Это они включали и выключали свет, раздеваясь.

В сталинском доме,

там,

в балахоне из Книги Чисел,
с перламутровыми зубами
и с детской колясочкой на рессорах.
Он дышал по-собачьи, с непроглядными безглазым лицом.

Я сидел и спросил:

— Кто ты, тип?

Он отвечал:

— Я — Творец.

— Что же ты, товарищ, творишь?

— Творчество.

— Но какое?

— Любое, увы, совершенно любое:

человека и птицу, субботу, зерно и судьбу.

Я был ироничен, как баснописец, и сказал:

— Сотвори МЕНЯ!

И он сотворил!

Механическим жестом он откинул шторку детской коляски.

Я посмотрел в коляску — и в ужасе онемел:

ТАМ БЫЛ Я.

В той коляске, в пещерке из пластмассовой протоплазмы,
лежал я.

Лежал маленький, беленький трупик,

как еврейская куколка,

с ногами моими: даже ноги одна чуть потоньше другой,

и с волосками на голеньком тельце.

И старик еще извинился:

— Извините, ну и ну, у покойников сверхъестественно быстро
отрастают волосы и ногти. Я — сейчас.

И большими медицинскими щипцами

он стал откусывать ногти у маленького меня.

Трупик лежал на пьедестальчике,

в изголовье меня поблескивала свечечка

и был микрофончик.

Старец работал и щебетал, человеческий воробей.

Он пояснял:

Это бессмертье твое, стихотворец.

— Вот твой пьедестал,

твой вечный огонь

и микрофон для общения с культурным миром.

— Что я сделал? —

сказал я, еле-еле переводя дыхание.

— Смешной человек!

Что он сделал?

Как и все — жил и умер — вот и все, что ты сделал.

— Но...

— Но-но-но..., — посочувствовал страшный старик, —

если ты будешь перечислять все свои „но”,

то тебе некогда будет использовать свой красноречивый
язык для остального.

Рассветало.

Деревья дрожали, как водяные фонтаны.

Я кричал ему:

— Ты, самодеятельное божество!

В жизни, в которой я жил, — не было жизни!

Выдумка ваша с детской коляской — литературный прием!

Как я жил, что я сделал, но не ты, попугай, это я

современность свою сочинил.

— Как ты жил, что ты сделал... — бубнил сумасшедший, —

как и все: жил и умер, вот и все, что ты сделал и что сочинил.

Я оглянулся.

Он опустился по-стариковски.

И старик как старик, и глаза у него как глаза, и старик

водянист,

и рассвет водянист, и глаза у него водянисты.

Он сидел на скамейке, философ.

Во рту у него, как роза в аквариуме, плавал язык,

там стояло два зуба — два оловянных солдата.

По волосатым рукам его ползали вены, как голубые черви.

— Я ушел! — закричал я. — Будь ты проклят, сангвиник!

Но старик попросил:

— Не уходи!

— Что еще? Как так: „не уходи”?

Он поправился:

— Уходи, но бутылку не уноси.

Я хохотал:

— Ты — Творец! Сотвори себе, жокер, бутылку!

— Творец творцом, а жить-то надо,

а бутылка стоит двенадцать копеек...

По ноча^м этот бедняга путешествовал с детской коляской
и в нее собирал бутылки. У него был карманный фонарик.

Я смеялся:

— Но это кубинский коньяк.

А не наши бутылки, даже кубинские, не принимают!

— Не принимают, — опечалился старец.

— На — двенадцать рублей! За такой балаган!

— Нет, пускай уж двенадцать копеек, но за бутылку.

А подаюния я не беру. Как никак, — а советский пенсионер.

Спасибо вам за хорошее отношење.

Все иллюзии в прошлом.

Теперь перед вами — прекрасный действительный мир...

3.

А действительный мир был действительно до умопомрачения
прекрасен.

Достоевские девочки бегали по аллеям
в тренировочных трикотажных костюмах.

Они не созрели для нравственности,
но для гарема созрели вполне.

По этажам опускались бездыханные тени солнца.

Пьяницы шли параллельно

и делали параллельные повороты неопикуемой красоты.

На остановках стояли трудящиеся со столетними лицами.

Энтузиасты бросались в автобусы, как дельфины.

По всем улицам, да и по всей вселенной
бегала одна и та же собачонка.

Собственные уши били ее по морде.

Она искала хозяина.

Но хозяина или вовсе не было, или он пропал.

У пивного ларька параллельные пьяницы сели.

И, не в силах донести до губы пивную кружку,

они с большим тактом рассказали друг другу
о трагической гибели летчика-космонавта Комарова
и сказали еще, что скорбит вся страна и — зарыдали.

А потом все же выпили пиво и ушли в неизвестность,

неопикуемые близнецы...

Все прекрасно.

Как скорбела страна!

Левитан диктовал сорок подписей соболезнований.

Подписалось:

много популярных правительственных фамилий
и несколько менее популярных.

а то, что знает, — только тайна.

У меня есть пишущая машинка.

Собственно говоря, это не пишущая машинка,
а портативное фортепьяно.

Я касаюсь клавиш подушечками пальцев,
когда появляются красные искры на моем вечернем небе.

Если комната — миниатюра мира,
не пожелал бы кому-нибудь моих миниатюр.

В комнате у меня — зеркало.

2.

Вечерами, когда угасают на небе
нежные искры солнца,
когда замигает бронзой
вечерний колокол моря,
и восемь веселых лун
расставят свои зеркала —
занавески в зеленых и красных рассеянных пятнах,
на улице — вымышленные фонари,
в сумерках только молнии освещают комнату мельканием, —
тогда вульгарно и страшно гремит государственный гром.
Так во времена бонапартовских революций Панчо Вильи
перед казнью гремело двадцать два барабана.
И змеиные ливни, как змеи Лаокоона,
рушат мое единственное окно.
Акварельные стекла
выпадают из рам и улетают в пространство грозы по
диагоналям.

И сквозь рамы-решетки моего животного мира
рушатся в комнату туловища змей.

Балеринки мои — все семь — трепещут от страха.
Они заливаются стеариновыми слезами,
их огненно-красные платочки опускаются ниже и ниже и
угасают в бронзе.

Львы, лежавшие в мраморных позах сфинксов,
встают по-собачьи на задние ноги,
от ужаса лая, как псы,

опрокидываются на спину
и дышат вверх лягушачьим брюхом.
Бесполезна борьба!
Многое множество змей!

Бейся, бейся, мой мотылек!
Это бабочка выпускает глубоко затаенные когти
(а змеи встают на хвосты,
клубятся уже над моей головой!),
налетает на змей,
вынимает из комнаты их, как из чугунок спагетти,
и выбрасывает, покачнувшись на крыльях, в окошко,
но, ужаленная, опадает куда-то в темноту и в мелькание
молний.

В эту схватку еще пацифист-Командор.
Сей счастливчик соблаговолит и сказал в микрофон
микропарадокс.

(Воздух темен и светел,
и летали по воздуху комнаты
карнавальные очи змей с бенгальским оттенком.
Их тела, как тела александрийских любовниц,
были натренированы и трепетали.
Появлялись повсюду
птички, жабы, полукрокодилы морды чудовищ,
Змей стояли, как тростники, и так же качались.)
И с любопытством рассматривая воздушное пресмыкание,
Командор вздохнул и сказал:
— И жизнь уже не та, и мы уже не те.
Он сказал и пропал в пустоте.

Все пропало.
Балеринки погасли.
Львов съели.
Всю мою иллюзорную современность
(я с такими усилиями и с бабочками ее сочинял)
поглотила и эта гроза.

Взбешенный,
я выхватил шпагу, но...
шпага за шпагой, как сосульки, таяли — капля за каплей,
капли металла растворялись в каплях дождя.

И тогда, монотонно сверкая, появилось зеркало из полутьмы.
Это зеркало смутно кое-что отражало,
но, когда появилось, перестало что бы то ни было отражать.
И все змеи опустились,
оглянулись на зеркало и посмотрели.
И,
загипнотизированные собственным взглядом,
они вползали в паст^ь/собственных отражений,
пожирая сами себя.

С добрым утром, товарищ!

Спасибо тебе за спасенье!

Все случилось, как все гениальное, просто.

Скоро зеркало все переварит:

балеринок и львов, и чудовищ твоих и рассвет,
и займется опять естественным отраженьем предметов.

Улетучился каждый кошмар.

Ты войдешь с электрической бритвой,
ты и в зеркале твой повседневный двойник.

И вы станете умно и с умными глазами

фрезеровать волосинки —

детальки своих повседневных и одинаковых лиц.

С добрым утром!

Еще полусолнышко и полунебо,
но со временем будет Солнце и Небо,

только выстоять нужно, дружок!

Я стоял на коленях и плакал,

пилигрим в полутемной пустыне

дома Дамокла.

Сам Творец, я молился невидимому Творцу.

3.

— Я сегодня устал,

а до завтра мне не добраться.

Я не прощенья прошу,

а, Господи, просто прошу:

пусть все, как есть, и останется:

солнечная современность

тюрем, казарм и больниц.

Если устану
от тюрем, казарм и больниц
в тоталитарном театре абсурда,
если рука сама по себе на меня
поднимет какое орудье освобождения, —
останови ее, Господи, не опусти.

Пусть все, как есть, и останется:
камеры племса,
бешеные барабаны, конвульсии коек операционных, —
и все, чем жив человек, —
рыбу сухую,
болотную воду
да камешек соли —
дай мне Иуду, молю, в саду Гефсиманском моем!

Если умру я, —
кто сочинит солнечную современность
в мире,
где мне одному отпущено
лишь сочинять, но не жить.
Я не коснусь всех благ и богатств твоих тварей.
Нет у меня даже учеников.

Только что в сказках бабки Ульяны
знал я несколько пятнышек солнца,
больше — не знал,
если так надо, —
больше не буду,

клянусь!

Не береги меня, Господи,
как тварь человечесю,
но береги меня,
как свой инструмент.

4.

По утрам пустота.
И от страха с трепещущим сердцем
я стою у пивного ларька:
Судный день, День Последний.

Простолюдины плачут от пива.
Пива много, и на все пиво их слез слишком мало.
Ногти у них, как в трещинках мрамор.
И на лицах у них — ничегошеньки, кроме где-то
из-за угла улыбающейся тоски.
Что ж. В этот День, в мой Последний,
все должны быть немножко грустны,
так сказать, грустны навеселе.

ИНТИМНАЯ САГА

1.

В мире царит справедливость.

Она царит:

в тюрьмах,
в казармах,
в больницах.

Справедливость существует лишь в этих трех измерениях,
потому что там все люди равны,
то есть каждый сам по себе равен нулю.

2.

В этой больнице была какая-то замаскированная зелень.

Листья висели, как вялые огурцы.

6 марта 67 года

я шел в шинели образца Порт-Артура

по бильярдным аллеям больницы,

я шел под конвоем фельдфебеля медицины,

я,

новобранец,

объявленной — всем! всем! всем! — Всемирной Войны,

я, уже не гражданин СССР, а почти небожитель.

Передо мной открывалась отличная перспектива:

1. В никелированной колеснице

по больничной аллее скакал паралитик моего поколения
с лохматой и ласковой мордой,
как Чудо-Юдо из сказки „Аленький цветочек”.

Он сообщил мне:

— Стой, двуногое недоразуменье!

Мои ноги отнялись.

Никто их не отнимал у меня, это они сами.

Они нетрудоспособны, но я их зачем-то таскаю на
колеснице.

В этом вижу я символические параллели:

ноги мои — как наш пролетариат — не работают, но
существуют.

И, указательным пальцем указывая на фигурки, он
захохотал:

— Тише! Они меня боятся. Я ваш социолог!
Это был не сумасшедший, а так, немножечко паралитик.

2. Из окна операционной талантливая невидимка
исполняла все гаммы Сумак и Пиаф.
Там лежала белая девушка с фарфоровым телом
и живот у нее был распахнут, как роза.

3. Инвалид на одной ноге танцевал балет Майи Плисецкой.
И пролетающей мимифо мимозке-медсестре —
Он поманил ее — Люсенька! — и сказал:
— Ваше лицо напоминает мне чье-то чудесное лицо.
— Чье же?

Люсенька мне подмигнула из-под красного
крестика, из-под косынки.
— Ваше лицо — точь-в точь лицо вратаря из команды
„Молдова”.

4. Два практиканта несли на носилках полужнакомый
труп.

В зубах у них было по сигарете „Шипка”.
У одного гиганта сигарета пылала, как мираж морских
приключений.

Другой практикант-негритенок не прикурил с перепугу.
Я вспомнил:

это был труп иностранца с инфарктом.
Пока у него узнавали анкетные данные,
он почему-то потихонечку умер в приемной.
С него позабыли снять кислородную маску,
так и несли с кислородной маской, как труп водолаза.

5. Два мушкетера в тюремных пижамах,
двойники Арамиса и д’Артаньяна,
пробегали взволнованно по аллее
и один быстро-быстро признавался другому:
— Я еще никогда не был пьяным.
Что такое напиться — для меня секрет.
Д’Артаньян подпрыгнул, как кенгуру:
— Сейчас мы купим пару бутылок бренди,
и ты в две минуты разгадаешь страшную тайну своего
секрета.

3.

На японских деревьях висели колечки солнца.
Пролетала в колечки красавица птичка.
Ах ты, птичка, проталинка-птичка!
Чем питаешься ты в Петербурге, в граде Кранкебурге?
Солнцем стареньким? Небом молочным?
Как ты скармливаешь птенцам трамвайный билетик,
подсчитав предварительно:
счастливый или несчастливый?
Не улетай!
Братец твой — ангел на Петропавловском шпиле
все улетал и не сумел. Правда!

4.

„Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...”
М. Кузмин.

В нашей палате нас было четыре.
Иван Исаич Кузьмин — весь весельчак.
97 лет, у него белый любительский череп с усиками на
безгубом лице.
Няня кормила его с руки, как голубка.
После отбоя он пел колыбельные песни голосом барса.
Люсенька,
медсестра, которая ставит катетеры,
тронула свеженькими пальчиками вершину его интимной
детали,
и деталь подняла свою римскую голову.
И держалась деталь, не шевелилась, — кобра на олимпийском
хвосте.
Четырежды Люсенька попыталась просунуть резиновую
трубку,
и четырежды старозаветная кобра бешено бунтовала,
как юноша Декамерона.
— Кто ты, дедушка?
Люсенька растерялась.
— Я герой трех революции и четырех войн.
А в мимолетных антрактах
после общественных сдвигов и перед гражданскими
потрясениями,
я, как и все мы, сидел.

Я сидел:

с народовольцами, в камере Александра Ульянова, в ссылке со Сталиным, с большевиками, с эсерами, с Эсеками, с центристами, с кадетами, с меньшевиками, с дезертирами 1916 года, с белогвардейцами, с бело-чехами, с думцами, с бабами Бочкаревой, с черно-сотенцами, с иеговистами, с бухаринцами, с попутчиками, со шпионами англо-германской и австралопитекской резведки, с семьями чудаков и чекистов, с Руслановой, с Бабелем, с пленными, вышедшими из немецкого плена в 1945 году, с офицерами, освободителями стран и народов, поработанных фашизмом, с Паулюсом, с Шульгиным, с власовцами, с космополитами, с пацифистами, с Солженицыным, с сектантами, с эмигрантами, с атеистами, с князьями Волконскими, возвратившимися на родину из Парижа в лагеря на лечение от ностальгии и т.д. и т.п.

Вот кто я.

Вот моя биография и специальность.

А поэтому ты, девушка, не беспокойся, —

Кузьмин указал на уже усмиренную кобру, —

я однолюб,

а по блядям никогда не ходил и не буду!

— *И не буду!* —

Вот как сказал 97-летний воитель всех времен.

Ночь как ночь.

Однорукий технолог мясокомбината зевал, как Шаляпин.

Он уже восемь суток лежал на утке, и ничего не получалось.

Наша Люсенька нас развлекала стрептомицином.

В коридоре, под лампочкой, в полутьме, на полу

двое почечников переставляли шахматные фигурки.

Иногда они вскакивали и, как девочки улицы, прыгали со

скакалками,

безнадежно надеясь, что выпадут камни из почек.

За окном ничего не мигало.

Только, как на ипподроме, стучали копыта деревьев.

Ночью Исаич встал и спросил:

„Что это есть „удаленье“?”

Я сказал:

— Удаленье есть удаленье.

— Стой, балбес, не перебивай.

Мне сказал этот профессор, сопляк и соратник смерти:

„Удалим потихоньку ваши интимные двойники”. Я
согласился. Что это,
к дьяволу, за „интимные двойники”?
— Это то, что находится под интимной деталью,
куда Люсенька вам безуспешно хотела вставить катетер.
— То есть яйца.
О паршивые сукины дети шарады! —

он засмеялся.

В шесть часов утра нам ставили градусники.
В шесть часов утра в градуснике Кузьмина ртуть не
поднялась ни на одно деленье.
При вскрытии трупа обнаружили: он задушил сам себя.
Как и чем он ухитрился — обнаружить не удалось.

Три лейтенанта принесли три чемодана орденов и медалей.
А по аллее у павильона прогуливались три генерала.
Лейтенанты уехали на машине „Волга” последнего образца.
Генералы постепенно ушли на трамвайную остановку.
Студент-негритенок причесал Кузьмину железной расческой
усы.

Его труп увезли (труп не негритенка, а Кузьмина)
в институт экспериментальной медицины
для использования в анатомических целях.

5.

После праздников у мужчин небритые лица.
У девок — синяки на лице и под платьем.

8 марта у Люсеньки получилась любовь.
Ее полюбил тот студент-гигант, который носил с негритенком
трупы.

Мы его называли шпагоглотатель.

Гигант был морфинист.

Он знаменит под названьем Альберт во всех альковах
больниц.

После одиннадцатилетки он три года работал троглодитом на
каком-нибудь дизель-заводе.

Где по-божески баловался „планом”.

Потом кто-нибудь познакомил его с морфием.

Но простому советскому Альберту очень трудно стать
истинным наркоманом:
нужны какие-то деньги и международные связи.

И Альберт поступил просто.

Начал он скромно:

проглотил программу квартального плана
бригады коммунистического труда
и четыре новехоньких гайки.

Его оперировали.

Понудивлялись, как это он невзначай проглотил все это
хозяйство.

Он объяснил:

— По рассеянности.

Он пил пиво и перепутал программу с воблой.

Ведь даже учитель земного шара Карл Маркс,
как вспоминает Лафарг,

обеда, иногда вместо хлеба по рассеянности отрывал уголок
газеты

и пережевывал типографский текст не без аппетита.

Убедил.

— А гайки? — спросили.

— Ах, гайки, — улыбнулся Альберт. —

Все мы гайки и винтики своей многомиллионной державы.

И вот разговор приобрел политическую перспективу,
что уже далеко не уголовное дело.

Месяц Альберта кололи морфием и понтаноном.

Через месяц Альберт проглотил плоскогубцы.

Потом он глотал:

гвозди из ФРГ,

склянки из-под гематогена,

щипцы для обкусывания заусениц,

шприц с иглой и шприц без иглы,

ассорти из наждачной бумага и фольги,

и как ему посчастливилось проглотить цепь от

велосипеда?

Восемь месяцев Альберт употреблял бесплатный наркотик.

На девятый Альберт был разгадан.

Ему предложили на выбор:

тюрьма за покушение на самоубийство,

больница имени Бехтерева для излечения душевной болезни.

Но Альберт был умнее:

он поступил на фармакологической факультет медицинского
института.

Теперь он переносил потихонечку трупы,

а медсестры давали ему потихонечку морфий.

Жалели.

Так у Люсеньки получилась любовь.

Девушка на дежурстве 8 марта —
это драма, достойная небезызвестной драмы „Гроза”.

Альберт

на 8 марта подарил Люсеньке свой пламенный взгляд,
и они напились медицинского спирта.

Дежурный врач

обнаружил дежурную медсестру в туалете.

Люсенька

наклонилась над унитазом,

как будто искала на дне жемчужное ожерелье Марии-

Антуанетты.

Альберт

шевелился всем телом,

он наклонился над Люсей,

держался за плечи ее, как за руль мотоцикла,

он наклонился,

как будто шептал ей в затылок тайну перпетуум мобиле.

Как раз в это время задушил сам себя Иван Исаич Кузьмин.

6.

Он был очарователен.

С утра морочила его машинистка —

в банальной больнице под одеялом ослиным

он особо секретные документы

подписывал,

рисую передо мной исторические параллели

между собой и Маратом, который подписывал все это в ванне.

Он веселился:

— Неугасим мой творческий темперамент, как лампочка

Ильича.

Нет на меня Шарлотты Корде. —

Сей секретарь ошибался.

Была на него Шарлотта Корде,

была, невзирая на весь диалектический материализм его

всесторонних сентенций.

— На каждого, бабушка, есть своя Шарлотта Корде.

(„Бабушка” — так мы называли этого претендента на лигу

бессмертных, потому что под вечер,

когда почему-то болели его подвенечные члены,
он непростительно плакал и бушевал на весь павильон в
приступе атавизма: — Бабушка, бабушка!)
— На каждого, бабушка, есть своя Шарлотта Корде:
на царя и рецидивиста,
на любителя виолончели,
на крестоносца и на

секретаря.

Сегодня в полночь, по Гофману, вам, бабушка, сделают
клизму,
и на заре завтра, по Андерсену, вам, бабушка, сделают
клизму.

И ровно в 12.00 по московскому времени
вам удалят наиважнейшие шарики вашего организма,
без которых вы станете, бабушка, совсем и совсем не вы.
— Нет, я есть я, и я буду я, —

утверждал секретаря, потрясая позолоченными очками.
Кроме физиологии, ты, формалист, есть еще философия!
Есть оптимальная самоотдача!
Есть нравственность!
Есть борьба за идеи!

О, да уж чего-чего, а уж нравственности и морали
будет у вас, идеал, так много,
что ваши все машинистки,
как Аленушки, будут рыдать,
вспоминая про ваш осиротевший фаллос.
Вас кастрируют, вы понимаете или нет?
— Ну и что? —

возмутился холерик. —

Ведь кастрируют, скажем, котов.

— И свиней, — подсказал я.

— И быков, — поддразнил он.

— И быков. Но быки убегают в пампасы и усиленно умирают
от стыда. Как умер Кузьмин.

— В любых обстоятельствах, если этого требует дело,
которому служишь,

нужно жить, а не умирать.

А Кузьмин, невзирая на все ордена и медали, —
отъявленный отщепенец и плюс стопроцентный старик.

Мы таких повидали:

им драгоценно лишь собственное я, но не общее дело.

— Да, им дорого собственное „я”, для общего дела,
а вам общее дело для собственного „я”.

— Хватит, — сказал он, — ты паяц и мерзавец. Мы таких еще
в первую очередь

перевоспитываем.

— Я паяц и мерзавец. Вы мичуринец и преобразователь.

Но природа вам отомстила.

Через час после кастрации не Иван Владимирович, а природа приступит к преобразованию вашего организма.

Она вывесит вам сатирические груди с сосками.

Ваша задница с антинаучным названием „газ”

продемонстрирует девственные окорока, такие, как у
окаянного колдуна или кокетки.

Ваш богатейший бас,

которым вы нас призывали к доблести и к трудовым
достижениям,

станет репликой безволосого альта.

Преобразуется мозг.

Он станет с женским уклоном.

Вам знакома идеология женщин, товарищ?

— Что ж. И с женским уклоном мы можем прекрасно работать.

Сколько женщин работает на руководящих постах.

А для голоса есть микрофон.

Мне 57 лет. И я полон энергии и энтузиазма.

— Господи, Боже! —

подумал я с изумленьем, —
как жизнелюбивы твари твои!

7.

И Валерик энтузиаст. Но с уголовным уклоном.

Помимо вечерней школы и катушечной фабрики, он —
командир оперативных отрядов.

Я никогда не подозревал, что это за наваждение.

Это нечто вроде „народной дружины”, по помоложе.

Я рассказывал истины о искусстве,

Валерик слушал машинально, а потом вспоминал о своем:

— По ночам в Сестрорецке мы устраивали засады.

Знаешь, белые ночи, кусты, красота, море — нежность,

у птиц — замогильные звуки получаются,

и совсем ни звездочки, ни фонаря, и бутылочный воздух.

Мы в кустах.

Мы бледны и готовы.

На песке появляется пара.

Но они не решаются на преступление на песке.

Они раздеваются и уходят в Балтийское море,
куда-то туда, в глубину, как будто купаться.

Мы то знаем: нет, не купаться.

И с напряженным нервами мы ожидаем.

И — а как же! — они погружаются в воду, где подалее, по
пояс,
и начинается то, ну, ты сам понимаешь, что может начаться
между

парнем и девкой, если тот и другая совсем не
имеют хаты, а уходят развратничать в море!

Ты понимаешь мои намеки?

— Я-то понимаю, а ты?

— И я. Мы приносим обществу пользу, и двойную:
мы спасаем свое поколение от разврата и от простуды в воде.

— Это трогательно.

Как же вы из прекрасного далека распознаете их действо.

— Очень просто.

Во-первых: на лицах у них красными линиями написано
вожделенье,

во-вторых: нам выдают бинокли. Специально.

Но бывает, — вздохнул мой Валерик, — очень трудно их
уличить.

Хитрецы уходят под воду и на дне совершают все свои
отрицательные

процедуры, ныряя по нескольку раз.

Пока добежим — уже оба довольны, и есть оправданье —
ныряли.

В таком случае лица у них невинны, как небо.

Ничего не поделаешь. Поматеришься — а ночь пропала.

И ни тебе благодарности от начальника отделения,
ни премии к празднику Первого мая.

— Ну, а с теми, кто пойман?

Валерик задумался.

Бюст его на больничной койке был копией бюста Родена
„Мыслитель”.

— Ты бы видел, как мы галантны.

Вынимаем отличный оперативный билетик,
после парню бьем морду, чтобы морда побита была хорошо,
но бесследно,

ну, а девуку, естественно, в общем, стыдим:

пусть чуть-чуть пробежится, пусть нам будет смешно!

И того и другого, пошептавшись, штрафуем потом в

отделение.

Ты не знаешь, — спросил он с непосредственностью, достойной
всяческого

главное, что к больному возвратилось самосознание:
прежде он присвоил себе ореол социолога Ариэля,
а теперь он опять именуется сидоровым-ивановым.
У фарфоровой девушки роды не состоялись,
но она усиленно и успешно
штудировала геометрию с применением тригонометрии,
чтобы перейти в 7 класс.

Ученик Майи Плисецкой получил полномочный протез.

Он размахивал новенькой ложкой,
как офицер на параде 7 ноября на Красной площади.
Мушкетеры уже перестали пить иностранное бренди
и перешли на одеколон отечественного производства.

Бабушка и Валерик встали
и гуляли плечом к плечу по глухим ходам павильона.
У них вырисовывался румянец.

До операции все смотрели на всяких врачей молитвенными
глазами.

После операции все кое-где собирались и сообщали друг
другу:

— Возмутительно.

Почему во всякой советской больнице все врачи — евреи?

9.

Мы живем так, как будто будем еще жить и жить.
Научи меня жить так, как будто завтра — смерть...

Когда я пришел в больницу 6 марта 67 года, уже начиналась
весна.

Когда я вышел 22 апреля 67 года, весна еще и не начиналась.

Воздух был голубой, а павильон морковного цвета.

А вообще-то воздух был сер и мутен.

Ленинград уже 5 месяцев, или больше, или меньше,
готовился к юбилею.

Всюду — и в парках, и на перекрестках центральных —
стояли типографские тумбы для афиш.

Они были оклеены революционными газетами,
такими, как они выглядели 50 лет назад.

Там дрожали трамваи.

Там летали на крыльях черные кошки-вороны.

Надо мной было солнце — белок полицейского глаза.

Раскрывалась вселенная — раковина ушная,
система подслушивания моего последнего сердца.

Современность влюбила меня, очаровала,
воспевая, воспитывая чудовище века — меня,
и над сердцем моим, над тюрьмой моего последнего сердца,
был поставлен логический знак существования —
алгебраический икс — бессмыслица наших надежд.
Но напрасно старалась солнечная современность:
я ее обманул:
я ей отдал одно только сердце,
а у меня оно не одно —
у меня миллион миллионов сердец.

ОДИН ДЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА

1.

Если сегодня мне говорят:

**Я БУДУ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ,
И ТОЛЬКО ПРАВДУ,**

я ни на секунду не сомневаюсь:

**МНЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ ЛОЖЬ,
ОДНУ ТОЛЬКО ЛОЖЬ,
И НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЖИ.**

Это вовсе не сон.

Это просто пролог.

5 ноября 1967 года я возвращался один с Куракиной дачи.

2.

Теперь работяги одеты, как баритоны.

Фарфоровые сорочки, в нейлоновых мантиях из голубого агата,

семьдесят семь слесарей сибаритствовали у пивного ларька.

На устах у каждого — музыкальная мелодрама
из песенного репертуара радиостанции „Юность”,

в левой руке у каждого —

воздушный шарик счастливого цвета, наполненный гелием,

в правой руке у каждого —

бокал золотого пива, как золотая корона.

Хулитель и скептик!

Теперь посмотри на прекрасные перемены:

две тысячи лет мы получали пиво из деревянных бочек,

теперь в стеклянных ларьках появились

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦИСТЕРНЫ!

Что наше прошлое? —

две тысячи лет пропавшего и пустякового пьянства во

тьме,

теперь

Мы солидарны ВСЕ У ИЛЛЮМИНИРОВАННОГО

пивного ларька!

Пей, человек, и участвуй во всех упоительных сценах!

Слесарь с бородкой, как боцман британского флота,
энциклопедист, он декламирует микроцитату
из Малой Советской Энциклопедии:

„Трезвенники —

типичное сектантское движение мелкой буржуазии,
разоренной конкуренцией крупного капитала.

К советской власти трезвенники относятся недружелюбно.

Район распространения трезвенников,

главным образом,

Ленинград и Москва”.

Так МСЭ писала в тридцатом году.

Сейчас же у нас естественные успехи —

трезвенники ликвидированы как в Ленинграде, так и в

Москве.

Слесарь в такой тубетейке, расписанной по рисункам Миро,
бегал, как карусельщик.

Классик, он бегал с бульдогом Чанком (Бунин, новелла),

любитель лингвистики Хлебникова,

он обучал палиндромам собаку, и пес палиндромы глаголил.

— Чанг, ну, пожалуйста, мальчик, скажи вопросительный

палиндром:

„УДАВ ЛИ ЖИЛ В АДУ”,

и пес говорил.

И все остальные рукоплескали.

Так сатанели они у ларька,

а над ними немело время,

и ноябрьские листья мелькали, как солнечные значки,

и, как многомиллионные луны, вспыхивали облака.

Повсюду висели живые фиолетовые фонари.

3.

На Фонтанке играли фонтаны.

Это на дне Фонтанки в зубоорачебном кресле сидел, как

базилевс,

иллюзионист и жонглировал струями из брандспойтов.

Миллионы плакатов висели, как красные геометрические

фигуры,

(на всех плакатах мы написали одни и те же юбилейные

силлогизмы).

После — пушки стреляли.

В сиреновом небе небожители-птицы трепетали (мои
испуганные мотыльки!)

Говорят, птицы плачут.
Но мало ли что еще говорят.

В милицейских машинах, как в кукольном театре,
сидели младшие лейтенанты.

Ленинградцы стекались на Марсово поле.

Там был Реквием Павшим.

Но в окрестностях Марсова Поля
на апокалиптических баррикадах
из автобусов и современных автомобилей

симметрично стояли батальоны милиционеров,
это, оказывается, был их заслуженный праздник,
и они никого не пускали.

Пропускали по пропускам.

Реквием был особо секретный.

Радио радиовещало „Интернационал”.

Еще радио радиовещало,
что на Марсовом поле присутствуют лучшие люди.

На пустынных пространствах Марсова поля
присутствовали, действительно, лучшие люди, соль соли
страны,

вот они:

колонны милиционеров,
курсанты военных училищ,
офицеры с золотыми ремнями,
представители Марокканской,
Мексиканской,
Французской

и — дай Бог памяти — кажется,

Гвадалquivирской Коммунистических партий,
и еще остальные консулы Ленинграда.

Никому не известно,

как узнали, кто есть в Ленинграде ЛУЧШИЕ ЛЮДИ,
а я знаю:

для чего существует регулярная рентгеноскопия?

Это делается для того, чтобы из трех поколений
окончательно выяснить, у кого же самое большое сердце,
то есть, по несомненным данным рентгеновских снимков
наши комиссии выбрали САМЫХ СЕРДЕЧНЫХ —
и выдали им пропуска.

Их было меньше нескольких тысяч, ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ,

деревья стояли, как всадники в красных плащах.
Да высоко-высоко в поднебесье
комнатная собачка лаяла, как огонек.
На скамейках никто не сидел — все лежали:
в одиночку или попарно,
кто с девушкой, кто просто так, от нечего делать.
И у лежащих блестели вставные зубы (изумительным
блеском!),
как светлячки факельных шествий.
Где-то кто-то играл на гитаре какую-то абракадабру.
Было холодновато.

И куда же я шел?
Та-ра-ра, догадаться нетрудно.
Я, естественно, шел в парикмахерскую.
Теперь, слава Богу, ни для кого не секрет, что в районе
Куракиной дачи
функционирует круглосуточная парикмахерская,
где тяжелые травмы души
превращают при помощи ножниц
почти в никакие травмы,
где при помощи полотенец-компрессов
приводят в нормальное положение маниакальное состояние.
Там мои парикмахеры —
девушки с демоническими усами.
Бритвы у них большие, как алебарды.
Это — моя бригада коммунистического труда.
При помощи алкоголизма, то есть местной анестезии,
они отделяют не голову от туловища, а туловище от головы
(а голова пока отдыхает в мраморной чаше),
обрабатывают туловище с нежностью, свойственной
девушкам, у которых усы,
и приживляют его потом к голове, ну и так далее.
(То есть, в каждой башке, в том числе и в моей, — свой
бардак, и свои идеалы).

Уже зажигались одни огоньки в каменных коридорах
квартиралов.

Просьпались и засыпали дети мои — трамвай.
Потому что у меня ^{была сосок-пустышек, они не}не могли окончательно ни проснуться,
ни заснуть.
^{скоро и в голубых небесах застрелют простые птицы.}
Говорят, птицы плачут.
Не знаю.

Не слышал.

Ну, да Бог с ними, с птицами и со слезами.

5.

Я сидел и курил на скамейке из камня.

И мусолил свои потусторонние мысли.

Рассветало.

Деревья, которые в темноте были сплошными, как
монументы, теперь разветвлялись.

Улетало несколько листьев.

Появились в окрестности дачи красные флаги и транспаранты.

Проскакал какой-то автобус — ковбойский конь.

Пульс мой бился все тише и тише,

и когда он стал абсолютно нормален, ко мне подошли.

Их пьяные лица были так вдохновенны,

как литавры краснознаменных оркестров.

— А, сказал я, — если вы хулиганы, то не бойтесь,

подойдите поближе.

— Мы не хулиганы, — сказали они, обиженные до глубины

души, мы

амнистированные убийцы. Мы дети-цветы, букфетики
нравственности к юбилею. А ты кто такой? —

сказали они и с достоинством вынули по револьверу.

— Я иностранец.

— Но не негр, не индус, не китаец и не араб, — прозамыслил

один, —

у тебя для такого случая что-то бледнолицая морда.

— Молодец! — похвалил я его. — Только я говорю о стране.

Каждый в мире

вчера и сейчас и когда-нибудь есть иностранец. Потому
что на нашей земле существует миллиарды стран, их

столько

же, сколько людей. Вы живете в своей, я в своей. Так
и вы для меня иностранцы.

— Вот как заговорил! — возмущился один. — Ты, как и пред-

полагаю, незау-

рядный мастер художественного слова. Но мы простые
советские амнистированные убийцы. Нам подавай

патриотизм.

— Ты не обидишься, — попросил другой, — если мы

постреляем в тебя

немножечко из револьверов?

— Какая обида? — воскликнул я с изумленьем. — Я уже
тридцать лет
живу в состоянье расстрела. Так стреляйте же, юноши,
а я пойду туда, куда шел.

И я пошел туда, куда шел.

А они стали стрелять.

Что это была за стрельба!

Я шел, а они мелькали со всех сторон

и стреляли мне в легкие, в уши, в живот, в ягодицы,
в обе челюсти и куда попало.

Не знаю, убили они меня или нет, но убежали.

И когда я присел отдышаться после этой односторонней
дуэли,

ко мне подошла девушка, нет, принцесса,
и ноги ее были сказочной красоты (остальное — кто обращает
вниманье?),

и сказала мне девушка голосом Гипсипилы,
что любит меня уже семнадцать минут (показала часы),
и пусть я не сомневаюсь, она — мое спасенье.

Так всегда.

Стоит только присесть, чтобы чуть-чуть отдышаться, —
кто-нибудь обязательно явится, чтобы спасти.

Как проявление любви (как будто больше любовь нельзя
никак проявить)

она расчесала мне волосы бриллиантовым гребнем,
и из волос моих выпала пуля.

— Что это, миленький? — осведомилась принцесса. — Это же
еще совсем теплая пуля!

— Да, это пуля, — сказал я просто и кратко.

— Как же это она выпала из волос?

— Она выпала не из волос, а из темени, — объяснил я не без
улыбки.

— Но ведь это значит, что вы тяжело ранены или мертвы.

— Может быть, я и ранен.

Не исключено, что мертв.

Но какое все имеет непосредственное отношење к вашему,
сука, существованию?

— Освободимся от ран! — закричал я, весело разрывая одежду
и вспарывая

себя, как лягушку, и вылезая из кожи, как из комбинезона, и отстраняя кожу с лица, как гипсовую маску, но без ушей.

— Освободиться от ран! — кричал я, потрясая сорванной шкурой
(пусть из нее посыпятся пули — все до последней!)

— Ах, сказала принцесса со сказочными ногами, — я любила вас ровно двадцать четыре минуты (показала часы) и вот разлюбила.

Разве можно быть таким нетактичным, чтобы так раздеться с первого взгляда?

— Извините, — сказал я.

И я снова влез в свою кожу и застегнул ее на животе, как перелицованное пальто, и поклонился я миру, как муэдзин на мечети, и, потому что солнышко уже показалось в пространстве, я сделал такое официальное заявление:

— Красота! Да здравствует солнце!

6.

О унеси меня в ненастоящее время,
в несуществующий сад, где собаки и дети,
где вертикальные ветви и где над ветвями вишни,
как огоньки над свечами, теперь трепетали.

О унеси меня в марсианские государства,
где мавзолеи и фейерверки, музыка масок,
где ни души, а в туземных таинственных душах
не доискаться сентенций и сентиментов.

О унеси меня в мир, где нет пользы ни в силе моей, ни в бессилье,
сделай меня мертвым монгольской смертью случайной, или сумасшедшим,
будь оно проклято, ваше вассальное счастье —
каменных комнат, административного ада.

**О унеси меня в море под парус последний,
дай мне сегодня судьбу-молитву морскую:
„ДАЙ МНЕ, О БОЖЕ, УТЕС — РУЛЬ МОЙ БУДЕТ
ПРЕКРАСЕН,
ДАЙ МНЕ, О ГОСПОДИ, БУРЮ, ЧТОБ УСТОЯТЬ!”**

ЯМБЫ, ТЕМЫ, ВАРИАЦИИ
(1965)

ФЕВРАЛЬ

1.

Февраль. Морозы обобщают
деянья дум своих и драм.
Не лая, бегают овчарка
по фетровым снегам двора.

Дитя в малиновых рейтузах
из снега лепит корабли.
Как маленькое заратустро,
оно с овчаркой говорит.

Снега звучат определенно:
снежинка „ми”, снежинка „ля”.
Февраль. Порхают почтальоны
на бледных крыльях февраля.

И каждый глаз у них, как глобус,
и адресованы умы.
На бледных крылышках микробы,
смешные птицы! Птичий мир!

А вечерами над снегами
с похмелья на чужом пиру
плывет иголочкой в стакане
веселый нищий по двору.

Он — принц принципиальных пьяниц,
ему — венец из ценных роз!
Куда плывешь, венецианец,
в гондолах собственных галош?

Ты знаешь край, где маки, розы,
где апельсины? в гамаке
где обольстительных матроны?...
Он знает — это в кабаке.

2.

Какая феникс улетела?
Какой воробыш прилетел?
Какой чернилам вес удельный?
Какой пергаменту предел?

Достать чернил и веселиться
у фортепьяновых костей.
Еще прекрасна Василиса,
еще бессмертен царь Кощей.

Пора, перо, большая лошадь,
перепетуум мобиле, бальзак!
Облитый горечью и злостью
куда его бросать — в бардак?

„Бумага мига, или века?“
Не все одно тебе, мой маг?
Колен не преклоняй, калека,
пред графоманией бумаг.

Художник дышит млечным снегом.
Снег графоман~~ов~~ — нафталин.
Как очи миллиона негров
в ночи пылают фонари.

3.

Без денег, как бездельник Ниццы,
без одеяний, как любовь,
на дне двора веселый нищий
читал поэзию Ли Бо.

Факир премудрого Китая,
по перламутровым снегам
он ехал, пьяный, на кентавре
в свой соловьиный сложный сад.

А сад был вылеплен из снега,
имел традиции свои:
над садом мраморная нега,
в саду снежинки-соловьи.

Те птицы лепетали: спите,
мудрец с малиновой душой,
четыре маленькие спички, —
ваш сад расплавится, дружок.

А утром, как обычно, утром
трудящиеся шли на труд.
Они под мусорною урной
нашли закоченелый труп.

Пооскорблялись. Поскорбели.
Никто не знал, никто не знал:
Он, не доживший до апреля,
апрелей ваших не желал.

Вокруг него немели люди,
меняли, — бились в стенку лбом.
Он жил в саду своих иллюзий
и соловьев твоих, Ли Бо.

4.

По телефону обещаю
знакомым дамам дирижабли.
По вечерам обогащаю
поэзию родной державы.

Потом придет моя Марина,
мы выпьем медное вино
из простоквашного кувшина
и выкинем кувшин в окно.

— Ку-ку, кувшин! Пльви по клумбам
сугробов, ангел и пилот.
В моем отечестве подлунном
что не порхает, то пльвет.

Моим славянам льготна легкость:
обогащать, обобществлять...
В моем полете чувство локтя
дай Боже, не осуществлять.

Один погиб в самумах санкций,
того закабалил кабак...
Куда плывете вы, писатель,
какие слезы на губах?

ПАРУС

1.

Латинский парус!
На Восток
я пилотирую мой парус.
Все, что не парус, — только торг,
где драгоценности — стеклярус.

Латинский парус!
Боже мой:
по белым клавишам — ногами! —
блуждают женщины зимой,
влажны их губы и вульгарны.

Я ждал тебя, как месяц май,
когда все брезжит, не смеркаясь...
Пльви, цветок весенней мглы!
(О, ботанические грезы!)
Под снегом дерева белы,
любое дерево — береза.

*Пльви, мой парус, мой мирок,
в пучине скальпелем сверкая.*

Сибирь! Я твой вассал, Восток!
Я твой Жерар Филипп из Пармы!
Мой полотняный лепесток,
мой белокаменный, мой парус!

2.

Аудитория — огул
угодливых холуев Хама.
Аудитория — аул
татар,
в котором нету храма,
где одинаково собак
и львов
богами назначают.

Аудитория — судьба,
моя судьба,
мое несчастье.
В аудиториях — в аду,

(ад продан по абонементам!)

я провоцирую орду
на юмор и аплодисменты.
На сцене струйкою стою...
Мои глаголы награждает
неандертальский лай старух
и малолетних негодяев.
Я суб-
 лимирую обман,
я соб-
 людаю ритуалы!

Лишь парус мой, как барабан,
там,
 за кулисами,
 рыдает...

3.

Не дай мне Бог сиять везде
до дней последних донца.
Дай мне сиять на высоте,
не превращаясь в солнце.

Дай между небом и землей
не выйти на орбиту.
А если доброе — во зло,
а за добро — обиду,

за всю мою большую скорбь
дай мне во всем сиянье
непредусмотренный восход,
или солнцестоянье.

Не дай весны на полюсах,
и да не предварятся
бесчисленные паруса —
мои протуберанцы.

4.

Латинский парус!
Ни души
в твоём, мятежник, океане.
А надо жить.
И надо жить,
надежды в бездну окуная.

В сомнамбулическом пыли
сомнений,
оглянись, художник:
где океан?
Болотный пруд,
насыщенный трудом удобным.

Тебе безделье, *<безнаде?>*
ты — табу.
В существованье нашем нищем
ты ищешь рубежей?
ты бурь
в болоте инфузорий ищешь?

Твой парус!
Что ты знал о нём?
В существованье нищем нашем,
в гниенье медленном амеб
твой парус сказочен и страшен.

ФАУСТ И ВЕНЕРА

1. Отрывок из письма.

Сосед мой был похож на Лондон.

Туманен...

Чем-то знаменит...

Он ехал малую народность
собой (великим) заменить.

Он что-то каркал о лекарствах,
о совещаньях, овощах.

Итак,

„луч света в темном царстве”
прибудет царство освещать.

Я слушал,

как сосед пророчил
не сомневаясь ни на волос,
что в паспорте его бессрочном
в графе национальность:
сволочь.

— Так, —

думал я, вдыхая ровно
и выдыхая дым в окно.

— Так. Есть великие народы
и малые.

Гигант и гном.

Во^н оно что!

Гном — вырожденец
от должности отставлен трезво.

Гигант же

с целью возрожденья
прибудет.

Ах, как интересно!

Светало. Солнечное тело
взошло малиновым оленем.

И я решил на эту тему
пофантазировать маленько.

2. Фауст

Огонь — малиновым оленем!

Сидел саами у костра.

Саами думал так:

— О, время!..

Он, в общем, время укорял.

Сидел саами. Был он худ.

Варил он верную уху.

И ухудшалось настроенье!

Саами думал:

— Не везет

саамским нашим населеньям.

Мы вырождаемся,

и всё.

Ему хотелось выражаться

невыразимыми словами,

а приходилось вырождаться.

Что и проделывал саами.

Снежинка молниєю белой

влетела в чум.

И очумела! —

И превратилась в каплю снега,

поздней —

в обыденную каплю!

И кто-то каркал,

каркал с неба!

Наверняка не ворон каркал.

Сидел саами — сам, как вечность.

Его бессмысленная внешность

была курноса, косоглаза,

кавычки — брови и кадык.

Зубами разве что не лязгал

за неимением таковых.

Вокруг брезентового чума

бродили пни,

малы, как пони.

И до чего ж удачно, чутко
дудел медведь на саксофоне!

И пожилая дочь саами
тянула песенный мотив...

Песня, которая называется „О настойчивости”

Тянул медведя зверолов
маститого, как мост
тянул медведя зверолов
сто сорок лет за хвост.
Тянул медведя и тянул
и обессилел весь.
До хижины он дотянул
глядит:

а где медведь?

Медведя нет. У старых стен
лежит медвежья тень.

Но зверолов был парень-гвоздь!
Породистый в кости!
Медведя нового за хвост
он цепко ухватил.

Упрямо пролагая след,
он тянет девяносто лет!

Он тянет ночь.
Он тянет день.
Он исхудал, как смерть.
Он снова, снова тянет тень,
а думает —

медведь!

3. Венера

Замолкла песня.

Отзвенела
аккордеоновым аккордом.

Тогда-то в чум вошла Венера,
как и должна богиня —
гордо.

Она была гола, как лоб
младенца,
не пронзенный грустью.

Она сияла тяжело
не модной и не русской грудью.

Она была бела, как бивень
чернели кудри, как бемоли.
А бедра голубые были,
как штиль на Средиземном море.

А чтобы дело шло вернее,
она сказала:
— Я — Венера.

Сказал саами:
— Вы, навроде,
навроде, рано вы разделись...
Вам, верно, нужен венеролог,
а я — саами... вырожденец.

Венера развернула тело
к огню — удачными местами.
И поцелуй запечатлела
в студеные уста саами.

Саами — о! — омолодился!
О! Сердце молодо зашлось!
Электростанцией зажглось!
О! В чуме стало мало дыма.

Через неделю —
много-много
детей запрыгало по чуму.
Хоть в чуме стало малость мокро,
зато — о, возрожденно чудно!

Младенцы, как протуберанцы
пылают!

Лопают моржами!

Младенцы — вегетарианцы
растут и крепнут и мужают!

Еще неделя —

о! на лодке

моторной

плавают, как в люльке.

О, возрожденные народы
вам не нарадуются люди!

4.

Но я увлекся рисованием
сюжета,

чуть не позабыв,

как пожилая дочь саами
тянула песенный мотив.

Песня, которая называется „Не пой”

На севере, на Севере,
а это далеко,
развеселились семеро
красивых рыбаков.

У них к веселым песенкам
был редкостный талант.
Ах, песенки! Ах, пеночки!
Невыполненный план!

Их увлекала музыка,
а не улов сельдей.
От Мурманска до Мурманска
ходили по семь дней.

Они ходили без руля.
Один из них — грузин
свой нос, как руль употреблял
в пучину погрузив!

Они придумали уже
такие паруса!
свои четырнадцать ушей
на мачту привязав!

Морские волки! Демоны!
Греми гармошка — грусть!
И прыгали все девочки,
как брызги, к ним на грудь!

На Севере, на Севере,
а это далеко,
пошли ко дну на сейнере
пошли ко дну все семеро
красивых рыбаков.

Когда красавцы выплыли, —
не хоронил их порт...

Вывод:
Пока ты план не выполнил —
не пой!

1963

СЛЕПЫЕ

Ты помнишь,
а если не помнишь, то вспомнил:
как пели слепые, сейчас на базаре, в Ангорске,
слепая семья —
он, она и ребенок.
И были у них негритянские лица, но белого цвета.

Мужчина играл на гармошке,
как будто растягивал лягушонка,
девушка пела,
и серьги ее распускались, как два парашюта,
девочка делала ножками:
танец она исполняла,
все остальные присутствовали:
стояли,
моргая и не моргая.

Ты помнишь, что пели они?
И не надо, не помни:
такие уж песни, как провинциальные лебеди на клеенках.
Толпа была полуодета, как все толпы на свете:
меха... кое-что из резины... тельняшки...
милиционеры с медалями... все остальные...

А те, кто поближе к слепым — не слушали пенье,
рассматривали
белые лица,
сочувствуя, но не стесняясь,
а те, кто подальше — не видели лиц, но слушали пенье,
они вынимали монеты из меди и не уходили.

Однако торговля не стала менее оживленной:
старухи в больших рукавицах
фруктовую рыбу обнюхивали, как целовали,
работали мясники топорами средневековья,
в бочонке звенел огурец, как зеленый звоночек.

Потом появилась, как львица, действительно, лошадь.
К гармошке пропал интерес:
все пошли посмотреть хорошенько на лошадь,
все,

даже четыре, как курицы, маленькие карлицы
и два лейтенанта:
с биноклем один, у второго футляр от бинокля.

Не помнишь, как падали листья?
А ты попытайся, припомни:
как листья играли, как трубки из маленькой меди,
с еще малолетних деревьев уже опадали,
уже увядая, еще не желтея,
они опадали зеленого цвета.

Солнце совсем не имело определенного места на небе —
присутствовало в каждой капельке неба одновременно.
Фосфоресцировал воздух, как испаренья
химических элементов химического производства.

Что происходило еще?
Лошадь-львицу
хороший товарищ вовлек в двуколесную тачку,
четыре карлицы купили четыре стакана
орешка сибирского кедра.
И щелкал орешек, как клюква,
и все остальные сплевывали скорлупу, когда шли, как
за эллинской колесницей, за тачкой.

Я помню тот вечер, когда фонари опускали
колокола великолепного света.
В грустной гостинице, в камере-одиночке
по телевизору кто-то играл на рояле.

Кто-то прекрасно играл, проникновенно и задушевно:
в смысле не „за душу брал”, а в смысле „задушат”...
И ничего не случилось, дружок, ничего не случилось
вот и сейчас, в воскресенье, как видишь, в Ангарске.

* * *

Род проходит и род приходит.
Веселью время и скорби время.
Только солнце бьется, как сердце
в туманном мире, в минутном небе.

ДВЕНАДЦАТЬ СОВ
(1963)



ШАГИ СОВЫ И ЕЕ ПЛАЧ

Раз-два! Раз-два!
По тротуарам шагает сова.

В прямоугольном картонном плаще.
Медный трезубец звенит на плече.
Мимо дворов — деревянных пещер
Ходит сова и хохочет.

Раз-два-раз-два!
По тротуарам крадется сова.

Миллионер и бедняк! — не зевай!
Бард, изрыгающий гимны — слова!
Всех на трезубец нанижет сова,
как макароны на вилку.

Раз! Два! Раз! Два!
На тротуарах ликует сова!

Ты уползаешь? Поздно! Добит!
Печень клюет, ключицы дробит,
шрамы высасывая, долбит
клювом, — как шприцем, как шприцем.

Раз... два... раз... два...
На тротуарах рыдает сова.

В тихом и темном рыданье — ни зги.
Слезы большие встают на носки.
Вот указательный палец ноги
будто свечу зажигает.

ДОМАШНЯЯ СОВА

Комнату нашу оклеили.

И потолок побелили.

Зелень обойных растений.

Обойные это былинки.

Люстра сторукая

в нашей модернизированной келье.

Так охраняли Таргар

сторукие гекатонхейры.

Мы приручили сову.

К мышлению приучили.

Качественны мысли у птички.

Много их — не перечислить.

Правильны мысли у птички.

Правильны — до зевоты.

Наша семья моногамна.

Сосуществует сова

третьим домашним животным.

Что ты, жена? Штопаешь,

или носки шерстяные куешь,

приподнимая иглу,

как крестоносец копье?

Скоро дожди. Пошевелят мехами.

На зиму в берлоги осядут.

Скоро зима. Окна оклеим.

Выдюжим трое осаду.

Так обсуждаем мы неторопливо

неторопливые планы...



Белое, влажное небо над нами пылало!

МЕДНАЯ СОВА

По городу медленно всадник скакал.
Копыто позванивало, как стакан.

Зрачок полыхал — снежнобелая цель
на бледно-зеленом лице.

Икона! Тебя узнаю, государь!
В пернатой сутане сова — красота!

Твой — город! Тебе —
рапортующий порт.
Ты — боцман Сова, помазанник Петр.

Из меди мозги, из меди уста.
Коррозия крови на медных усах.

И капля из крови направлена вниз, —
висит помидориной на носу.
Ликуй, истеричка, изверг, садист!
Я щеки тебе на блюде несу!

Я гол, как монгол, как череп — безмозгл.
Но ты-то скончался, я — буду, мой монстр.

Я страшный строитель. Я стражник застав.
Когда-то моя прозвонит звезда.

Она вертикально вонзится в Петра! —
Ни пуха, ни пера!

А кони-гиганты Россию несут.
А контуры догмы свиной — внизу.

Внизу византийство свиных икон
и маленький металлический конь.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СОВЕ

Баю — бай — баю — бай,
засыпай, моя сова.
Месяц, ясный, как май,
я тебе нарисовал.

Я тебе перепёл
всех животных голоса.
Мудрый лоб твой вспотел
и болезненны глаза.

Ценен клоп и полкан.
Очи с рыбьей пеленой —
раб труда,
и болван.
Но не ценится — больной.

Платят моргам, гвоздям,
авантюрам, мертвецам,
проституткам, вождям,
но не платят мудрецам.

Баю — бай, моя обуза,
умудренная сова!
Я тебе качать не буду —
засыпай сама!

Вот оно, чудное мгновенье!

(К иронии не премину.)

Примеривает —

я не верю.

Поднимет молоток —

примкну.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕ И СТРАННЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ

Спасибо тебе за то и за то.
За тонус вина. И за женщин тон.
За нотные знаки твоих дождей
спасибо тебе, Сова!

За все недоделки. За тех людей
с очами овальными желудей,
меня обучающих честно лжи,
спасибо тебе, Сова!

За бездну желаний! За сучью жизнь.
За беды. Дебаты. За раж,
ранжир, —
уже по которому я не встал, —
спасибо тебе, Сова!

Спасибо! Я счастлив! Моя высота —
восток мой, где сотен весталок стан,
где дьяволу ведом, какой указ
уродуешь ты, Сова!

Я счастлив!

От нижних суставов до глаз,
что я избежал всевозможных каст,
за казнь мою завтра,
не смерть — а казнь, —
спасибо тебе, Сова.

СОВА СИРИН. ОПЯТЬ ЗАПАДНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I.

Птица Сирина, птица Сирина!

С животным упорством
снег идет,
 как мерин сивый,
сиротлива поступь.

Медный всадник — медный символ
алчно пасть разинул.

Птица Сирина, птица Сирина!
Где твоя Россия?

Слушай:
 стужа над Россией
ни черта не тает.

Птица Сирина, птица Сирина!
Нищета все та же.

Деревянная была —
каменная стала.
Посулит посмертных благ
всадник с пьедестала.

Эх, дубинушка! Науку
вспомни добрую, народ!
Ну, а если мы не ухнем,
то —
 сама пойдет!

СОВА И МЫШЬ

Жила-была крыша, крытая жостью.
От ржавчины
жесть была пушистая, как шерсть щенка.
Жила-была на крыше труба.
Она была страшная и черная,
как чернильница полицейского.
Труба стояла навытяжку,
как трус перед генералиссимусом.
А в квартирах уже много веков назад
укоренилось паровое отопление.
Так что труба, оказывается,
стояла без пользы —
позабывтое архитектурное излишество.
Так как печи не протапливались,
то из трубы не вылетал дым.
Чтобы как-то наверстать
это упущение,
ровно в полночь,
когда часы отбивали 12 ударов
(и совсем не отбивали удары часы,
потому что в доме
уже много веков назад
разрушили старинные часы с боем;
в доме теперь преобладали
будильники;
значит, часы не били,
но...
как взрослые изучают книги
не вслух, а про себя, —
так и детям мерещилось,
что часы все-таки отбивают в полночь
ровно двенадцать ударов,
так же не вслух, а про себя;
так мерещилось детям,
хотя они в двенадцать часов ночи
беспробудно спали,
потому что дети укладываются рано,
в отличие от взрослых,
большинство которых по вечерам
пристывает к размышлениям,
заканчивая их далеко за полночь),

— Нет, нет, —

заторопилась Мышь.

Она опасливо поглядывала на Сову,
покачивая своими 32 хвостами,
торчащими изо рта.

— Нет, нет, лучше мы побеседуем
о международном положении.

— Чепуха! —

зевнула Сова. —

Между народами положена тоже пища.

— Давай поговорим о киноискусстве! —
закрутилась Мышь. — Как тебе нравится
изумительный последний фильм?

— Чепуха! Последний фильм — чушь
гороховая! — начала гневаться Сова,
и, вспомнив о горохе, облизнулась.

— Как ты думаешь, откуда произошло
слово Мышь? — выпалила Мышь.

— Откуда? — вяло поинтересовалась Сова.

— От мыш — ления.

— Чепуха! — отрицательно захохотала Сова. —

Слово „мышь” произошло

от вы — корм — мыш.

Вы — корм, Мышь!

Стало светать.

Проснулся дворник. Дворник — женщина.

У нее было бледное татарское лицо
и квадратные очки в медной оправе.

Она закурила трубку.

Искры вылетали из гортани трубки,
подобно молниям.

Дворник приготовила метлу
в положении „к бою готовсь”.

Как раз в этот момент часы проббили
шесть раз.

А когда часы били шесть раз,
тогда Сова начинала очень быстро
увеличиваться в размерах,
а Мышь — уменьшаться.

Через несколько секунд

Сова достигла размеров здания,

а Мышь —

уменьшилась до размеров мизинца.
Сова торжествовала.
Теперь она сожрет Мышь
безо всяких собеседований.
Перья топорщились на ее лице —
каждое перо по длине и толщине
равнялось человеческой руке.
Но Сова уже стала настолько велика,
что ей уже была не видна Мышь.
Сова сидела,
гневно вращая голодными глазами.
Казалось, что это вращаются,
пылая спицами,
два огромных велосипедных колеса!

Никто из жителей здания не догадывался,
что каждую ночь на их крыше
происходит сцена, изображенная мной.
Нелепая сцена!

Почему, когда Мышь бывает огромной,
как овчарка, почему у нее
не появляется замысла сожрать Сову?
Почему кот не обращает внимания на Мышь?
В этом способны разобратся лишь дети
моей страны.

Когда часы отбивали шестой раз,
то кот, растаявший на фоне
звездного неба,
собирал свое тело по каплям, как туча,
сгущался,
и, синий, влетал обратно в трубу.

А несколько миллионов радиоприемников,
размещенных в недрах здания,
выговаривают единым
жизнеутверждающим голосом:
— С добрым утром, товарищи!

МУНДИР СОВЫ

Мундир тебе сковал Геракл
специально для моей баллады.
Ты как германский генерал
зверела на плече Паллады.

Ты строила концлагерей
концерны.

Ты! Не отпирайся!
Лакировала лекарей
для опытов и операций.

О, лекарь догму применял
приветливо, как примадонна.
Маршировали племена
за племенами
в крематорий.

Мундир! Для каждого — мундир!
Ребенку! Мудрецу! Гурману!
Пусть мародер ты, пусть бандит, —
в миниатюре ты — германец!

Я помню все.
Я не отстану
уничтожить твою породу.
За казнь —
и моего отца,
и всех моих отцов по роду.

С открытым ли забралом,
красться
ли с лезвием в зубах,
но — счастье
уничтожить остатки свастик —
коричневых ли,
желтых,
красных!

Чтоб, если кончена война,
отликовали костылями, —
не леденело б сердце над
концлагерями канцелярий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРХОВНЫЙ ЧАС (1979)

„У моря бежала, у моря бежала... не ближе...”	9
„Я лишь просил: не нужно! не удержим!...”	10
„Кто Вас любил? Да Вас! — да всяк!...”	11
Памяти...	12
Як ты міг дочекатись, чи справдиться слово твое.	13
Семнадцать лет спустя	14
Воспоминанье	16
„Все было: фонарь, аптека...”	17
„Если б шарами в нишах луз...”	18
День гнева, этот день	19
Колыбельная.	21
Девять лет спустя	22
Третий Париж	24
Прага-76	26
Польское (Реквием-речитатив).	35
Завороженные дрожки.	38
Servus Madonna	42
Баллада Эдгара По.	43
Прощанье Аристофана	47
На холмах Эстонии	49
Вечер на хуторе	50
Листопад лягух	51
Овечья баллада	52
Баллада о двух эстах	53
Полдень на хуторе	55
„Был август...”	57
Босые листья	59
„Не гаси, не гаси наш треног...”	60
Дельфиец	61
Дидактическая поэма.	63
Когда меня... Что им ответишь?	70
Озеро — зеркало зверя.	72
Нимфе эхо	73
Гамлет	74
Дон Жуан	76
Послание Иоанну.	78
„Что рифма! — коннице колоколец!...”	80
До свиданья, книга	81
Семейный портрет	82
„И увидел я новое небо и новую землю...”	84

ДЕВА-РЫБА (1974 — 1975)

Четверостишия	87
„Слова слабы...”	88
Расставанье	89
Мой мир	90

Октавы	92
Элегия без луны	95
Мой дом	97
Дева-рыба	98
Простая песенка	100
Жизнь моя	101
Триптих	102
В больнице	106

ХУТОР ПОТЕРЯННЫЙ (1976)

Ворон	109
Мой монгол	110
Хутор потерянный	114
„уж сколько раз твердили миру...“	116
Традиционное	117
Послание	119
Легкая песенка на мосту	120
Все как всегда (Лубок с Монголом)	121
Три розы в бокале у Бога	122
У озера у пруда (Плач в пяти пейзажах)	123
Арифметика овец	126
Куст смородины (Варианты)	127
Воскресенье (Каталог без людей)	129
У ворот (Лубок)	131
Песнь лунная	132
Об Анне Ахматовой	133
Не о себе	135
В зале живописи	144
Терцины (Памяти Лили Брик)	145
„Не бил барабан пред лукавым полком...“	148
Посмертное	149
Заклинанье	151

„37“

Первое стихотворение 1973 года	155
Песнь моя	156
„Мой милый“	157
„Я оставил последнюю пулю себе...“	165
Последний лес	166
Бессонница	168
Пастораль, или эстонская элегия	169
О себе	170
Псалом	171
Дождь	173
Отплываем	175
„Дождь идет по улицам, как лошадь...“	176
„Я вышел в ночь (лунатик без балкона!)...“	178
„Когда асфальт расставит розы...“	180
„Выхожу один я. Нет дороги...“	181
„Я разлюблю (клянусь?) Тот рай-бал!..“	182

ЗНАКИ (1972)	
„Когда жизнь — это седьмой пот райского древа...”	185
„Искусство — святыня для дураков...”	186
Литературное	188
Вроцлав	190
Звезды	192
Риторическая поэма	193
Дума	202
Красный сад	204
Несостоявшееся самоубийство	208
Мухи (Историческое)	217
Сонет	219
Орфей	220

ПЬЯНЫЙ АНГЕЛ (1969)

„Во всей вселенной был бедлам...”	223
„Вот было веселье!...”	224
„О призывайте...”	226
„Мой ангел уснул (зачем прилетел?) ...	227
„На светлых стеклах февраля...”	228
„Так-так сказал один мертвец...”	230
Детская песенка	231
„Погасли небесные нимбы...”	232
„Месяц март на дворе, месяц март...”	233
„Май прошел, как ангел пролетел...”	234
Продолжение Пигмалиона	235
Хутор	236

ХРОНИКА -67 (1967)

Бессонница	249
Живое зеркало	254
Интимная сага	260
Один день одиночества	273

ЯМБЫ, ТЕМЫ, ВАРИАЦИИ (1965)

Февраль	285
Парус	289
Фауст и Венера	292
Слепые	298
„Род проходит и род приходит...”	300

ДВЕНАДЦАТЬ СОВ (1963)

Контурсы совы	303
Глаза совы и ее страх	305
Шаги совы и ее плач	306
Домашняя сова	307
Медная сова	308
Колыбельная сове	309

Благодарность сове и странные предчувствия.	312
Сова Сирип, опять западные реформы Петра I	313
Сова и мышь	314
Мундир совы.	318

АРДИС

- И. Бродский, УРАНИЯ
В. Войнович. МОСКВА 2042
С. Соколов, ПАЛИСАНДРИЯ
В. Аксенов, СКАЖИ ИЗЮМ
И. Лиснянская, СТИХОТВОРЕНИЯ
Ю. Милославский, ОТ ШУМА ВСАДНИКОВ И СТРЕЛКОВ
В. Набоков, ДАР
О. Мандельштам, РАЗГОВОР О ДАНТЕ
С. Липкин, КОЧЕВОЙ ОГОНЬ
А. Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ
Ф. Искандер, КРОЛИКИ И УДАВЫ
С. Юрьенен, СЫН ИМПЕРИИ
Б. Кеңжеев, ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА
С. Довлатов, ремесло
Л. Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО
А. Гладилин, КАКИМ Я БЫЛ ТОГДА
Р. Орлова, ВОСПОМИНАНИЯ О НЕПРОШЕДШЕМ
ВРЕМЕНИ
М. Цветаева, ВЕРСТЫ
Б. Пастернак, ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ
А. Цветков, ЭДЕМ
Ю. Трифонов, ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
С. Полякова, ЦВЕТАЕВА И ПАРНОК
В. Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. Набоков, ПЕРЕПИСКА С СЕСТРОЙ
И. Бабель, ПЕТЕРБУРГ 1918
Е. Шварц, ТРУДЫ И ДНИ ЛАВИНИИ
П. Чаадаев, ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА